Голиб

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Гоголь без глянца» – документальная мозаика, составленная из фрагментов воспоминаний современников писателя, а также документов и свидетельств, собранных его первыми биографами, высказываний и писем самого Гоголя. Это позволяет посмотреть на загадочную и трагическую личность великого сочинителя с самых разных точек зрения. Книга сочетает в себе элементы исторического повествования и художественного исследования.

- Гоголь без глянца
  - ○
  - ○
  - ○ Ревизор мертвых душ
  - ○ Личность
    - ■ Облик
    - ■ Характер
    - ■ Творчество
    - ■ Образ жизни и особенности поведения
    - ■ Жилище
    - ■ Охота к перемене мест
    - ■ Актерский талант
    - ■ Интересы и увлечения
    - ■ Гардероб
    - ■ Гастроном
    - ■ Шутки, розыгрыши, проказы
    - ■ Здоровье
    - ■ «Малоросс»
  - ○ Родные и близкие
    - ■ Предки
    - ■ Отец Василий Афанасьевич
    - ■ Мать Мария Ивановна
    - ■ Сестры
  - ○ Жизнь и судьба
    - ■ Детство
    - ■ В Нежинской гимназии
    - ■ В начале пути. Петербург
    - ■ Дружба с Пушкиным
    - ■ На профессорской кафедре
    - ■ «Ревизор»
    - ■ Европейские странствия и впечатления
    - ■ Рим
    - ■ «Мертвые души»

        - В Москве
        - «Выбранные места из переписки с друзьями»
        - Письмо Белинского к Гоголю
        - Паломничество в Святую землю
        - Попытка женитьбы. 1850 год
        - Второй том «Мертвых душ»
        - В Оптиной пустыни
        - 1850–1851. В Одессе
        - Из последних дней
        - Сожжение второго тома
        - Агония
        - Похороны
    - Краткая летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22

Гоголь без глянца
Сост. Павел Фокин

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2008

* * *

Памяти Георгия Михайловича Фридлендера

Ревизор мертвых душ

Гоголь – пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет.

В. В. Розанов

Его назвали «великим» через день после похорон.

Он ушел, не дожив месяца до сорока трех лет. В возрасте расцвета, по античным меркам – «акме». Угас стремительно и неожиданно для всех, предав огню весь свой архив и многолетний труд по созданию второго тома «Мертвых душ». Словно захлопнул дверь за собой.

Василий Боткин в день трагического известия, 21 февраля 1852 года, сообщая в письме Тургеневу подробности, заключает свой отчет словами: «Как бы там ни было, но смерть эта поражает своим необыкновенным характером. Во всем этом есть какая-то сила, сила индивидуальности, перед которой почтительно отступаешь».

История Гоголя удивительна. Беспрецедентна для России. Гоголь – самое обласканное дитя русского общества. Ни одного писателя более так не баловали: систематически и в течение всей его жизни. Ни одного так единодушно не обожали. «Его повсюду читали точно запоем, – вспоминал В. В. Стасов. – Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще не известный никому юмор – все это действовало просто опьяняющим образом».

Белинский сделал Гоголя знаменем нового литературного направления. «Вы у нас теперь *один,* – со свойственным ему максимализмом писал критик 20 апреля 1840 года, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою: не будь вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества». В своем восхищении Белинский не был одинок. Начались разговоры о «гоголевском периоде» в русской литературе.

Установился своеобразный культ Гоголя. Достоевский рассказывал, как молодые люди собирались на вечеринку и вдруг кто-нибудь предлагал: «А не почитать ли нам „Мертвые души“, открывали том и не могли оторваться до утра». Гоголевские словечки вошли в повсеместный оборот. «Даже любимые

гоголевские восклицания: „чорт возьми“, „к чорту“, „чорт вас знает“, и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали» (В. В. Стасов). Юношество стриглось «под Гоголя» и обряжалось в любимые им жилетки. Посмотрите на портрет Некрасова 1840-х годов – вылитый Гоголь!

И не только молодежь – во все времена публика восторженная и неуемная! – «старики» тоже были очарованы новым талантом. Пушкин, уже автор «Евгения Онегина» и семьянин, забегает к нему в гости по-простому, без предварительных уведомлений. Жуковский, учитель Пушкина и наставник цесаревича, постоянно хлопочет о Гоголе перед государем, добивается для него денег и привилегий. Старик Аксаков усердно лоббирует гоголевские интересы в Москве. В Петербурге – верный друг и покровитель, профессор русской словесности, а с 1840-го – ректор Петербургского университета П. А. Плетнев.

Магия неопровержимого обаяния таилась в личности Гоголя. Перед нею все отступало. Тургенев вспоминал о первой встрече с создателем «Мертвых душ»: «Я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту – в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним».

Перед Пушкиным при его жизни так не преклонялись, как перед Гоголем. Его любили самозабвенно. Обхаживали, пеклись о его делах и нуждах, потакали капризам, прощали порой обидные выходки и нелепости. А странного в поведении Гоголя было много – его причуды вошли в анекдот. Мог в гостях, чуть ли не в присутствии дам, завалиться на диван и заснуть. Мог спрятаться от давнего знакомого в соседнюю комнату, когда тот приезжал с визитом. Зачем-то почти два месяца посылал матери письма как бы из-за границы, хотя уже давно был в Москве. Иногда мог приврать, да так неловко, что всем было очевидно: все сказанное – выдумка. Вообще, был человеком настроения. О ком другом в сходной ситуации попросту сказали бы, что он невежа, Гоголю же все сходило с рук. «Мы не можем судить Гоголя по себе, – оправдывал своего любимца Аксаков, – даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе». Друзья конфузились, смущались, недоумевали – и продолжали благоговеть, любить, потакать. Разве что пылинки с него не сдували…

В России своего дома у Гоголя не было: он неделями, иногда месяцами жил у своих знакомых, пользовался их кровом,

заботами, столом. «За содержание свое и житье не плачу никому, – прямодушно признавался Гоголь в 1849 году в письме графине А. М. Виельгорской. – Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки». В голову никому не приходило брать с Гоголя деньги за проживание!

Друзья неизменно, по первой же просьбе ссуживали его любыми суммами, порой выкраивая последние средства из собственного бюджета или занимая у третьих лиц. О долгах не напоминали: со своими кредиторами (даже язык не поворачивается назвать так Жуковского, Плетнева, Аксакова, Погодина, Шевырева) Гоголь расплачивался годами. Да что друзья, каждый встречный готов был услужить! Примеров – сотни.

Сам государь Николай Павлович, грозный и строгий, «Палкин», не смог устоять перед талантом Гоголя: утвердил к постановке «Ревизора», присутствовал на премьере и от души смеялся; позже дал добро печатать «Мертвые души», застрявшие было в цензуре; назначил пособие (говоря современным языком, выделил грант на продолжение работы над вторым томом), повелел выдать такой заграничный паспорт, какого в природе никогда не существовало.

О душе Гоголя молились оптинские старцы. Митрополит Московский Филарет проявлял деятельное внимание к его судьбе.

Гоголь, если взглянуть на все эти совокупные усилия современников сегодняшними глазами, видится как уникальный в истории государства Российского *национальный проект* в области литературы. Слову Гоголя поверили безоговорочно. Он стал *мечтой России о пророке в своем Отечестве*. Художник А. А. Иванов даже поместил фигуру писателя на своей картине «Явление Христа народу», в непосредственной близости к Спасителю.

Окончательно Россия утвердилась в своих чаяниях после выхода в свет первого тома «Мертвых душ». «Удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный, – писал в дневнике А. И. Герцен. – Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue[1], а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо

обращается у русского в груди».

Русский читатель с затаенным напряжением ждал продолжения. Жаждал. С недоумением прочел «Выбранные места из переписки с друзьями», которые удивили равно западников и славянофилов, революционеров и охранителей. Пожалуй, впервые рассердился на Гоголя. Заволновался, обеспокоился, даже разругался с ним на какое-то время, но усиленной заботы своей о Гоголе не оставил. Не понимал, но по-прежнему холил, лелеял, оберегал и спасал. Помогал, как мог и чем мог. Словом и делом. И верой в него, в силу его дара.

По сути, вся просвещенная Россия писала второй том «Мертвых душ». Говорят, Гоголь очень не любил, когда его спрашивали, как идет работа, – раздражался, скрытничал, не догадываясь, что это был *насущный вопрос времени.* И вовсе не праздное любопытство двигало вопрошателями, а – томление духа. «В пустыне мрачной». И когда за девять дней до кончины Гоголь все сжег, Россия обмерла. Столько надежд и ожиданий сгорело в ту непостижимую ночь с понедельника на вторник второй недели Великого поста 1852 года, столько усилий и труда обратилось в пепел! Потрясенный случившимся, Погодин завершил рассказ о подробностях происшествия словами: «Вот что до сих пор известно о погибели *неоцененного нашего сокровища*!..» Не меньше!

Своим предсмертным поступком Гоголь озадачил русского читателя навсегда. И сегодня, и завтра, как и сто лет назад, тайна гибели второго тома будет мучить русскую душу. Мутить.

«Мы всё склонны объяснять болезнью. „Болезнь“ да „болезнь“, – писал пятьдесят лет спустя Василий Розанов, – какое легкое объяснение: это deus ex machina[2] неумных биографов. Ибо почему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть – тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это „дух земли“ заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем».

Современники передавали слова сожаления, якобы сказанные Гоголем на следующий день: вроде как «лукавый попутал». Может

быть. Однако верить им до конца нельзя – Гоголь был известный конспиратор! Он сжег второй том, находясь в здравом уме и твердой памяти. Точно знал, *что* делает. Ведь не первый раз предавал огню свои сочинения. Когда-то в юности уничтожил в печи практически весь тираж дебютной своей книжки – поэмы «Ганц Кюхельгартен»: никто не хотел ее покупать и читать. Потом так же поступил с некоей трагедией на историческую тему, которую слышал только один Жуковский и чуть не уснул от скуки. Да и начальная редакция второго тома безжалостно подверглась аутодафе. «Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно, – пояснял тогда Гоголь в одном из писем. – „Не оживет, аще не умрет“, говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряженьями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу… Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным». Огнем, будто мечом, расчищал Гоголь дорогу к совершенству, безжалостно истребляя все, что не соответствовало Замыслу. И не столько художественная отделка занимала писателя в последние его вершинные годы, сколько правда, заключенная в его творении. И ее-то он у себя не находил. Не нашел. И сжег все. И себя – *бессильного сказать правду*.

Гоголь явился в Россию ревизором мертвых душ. Он собрал и представил на посмеяние весь мрак и безобразие ее, всю пошлость и весь душевный сор. Расправился с мерзостями жизни от всего сердца. Но как художник небывалой проницательности и остроты ума, ясного и светлого взора, да просто как честный человек он не мог смириться с тем, что на страницах его заветного сочинения *Россия Пушкина* запечатлелась только как *Россия Плюшкина*, и мучительно – более десяти лет – искал способ восстановить полноту картины. Не нашел. И сжег все. И себя – *обессиленного исканиями*.

Но, уничтожив свои рукописи, Гоголь сочинил, может быть, еще более грандиозную и величественную поэму, чем ту, которой вот уже более ста шестидесяти лет восхищаются читатели. Молчаливая тень Второго Тома, не того, что сгорел, а того, который виделся Гоголю в минуты духовного откровения, манит к себе и вдохновляет, пробуждает мысль и совесть. Ей мы обязаны «Дворянским гнездом», «Обломовым», «Войной и миром»,

«Братьями Карамазовыми» – всем деятельным и страстным порывам русской души. Второй Том «Мертвых душ» – это зачарованный *Град Китеж* русской литературы, и все мы, души живые, взыскуем его.

Национальный проект «Гоголь» продолжается.

Павел Фокин

Личность

Облик

Александр Петрович Стороженко *(1805–1874), писатель, автор повестей на русском и украинском языках:*

Его лицо, хотя неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе выражала иронию и насмешку.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня; 1825–1907), младшая сестра Гоголя:*

Волосы у него были русые, а глаза – коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Росту он был ниже среднего; худощавым я его никогда не видела; лицо у него было круглое, и всегда у него был хороший цвет лица, я не видала его болезненно-бледным. Немножко он был сутуловат, это заметнее было, когда он сидел. <…>

Особенно потемнели у брата волосы после того, как он обрился в Петербурге (в начале 1830-х гг. – *Сост.*). Существовало такое убеждение, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская так действует, что волосы вылезают. И брат, как приехал в Петербург, обрился. После того волосы у него потемнели. Ездил с ним лакей отсюда, он и тому советовал обриться, но лакей не послушался и лысым стал.

Михаил Николаевич Лонгинов *(1823–1857), библиограф, начальник Главного управления по делам печати, ученик Гоголя:*

Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волосов на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, – все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, – вот каков был Гоголь в молодости.

Пантелеймон Александрович Кулиш *(1819–1897), публицист, историк, поэт, первый биограф Гоголя:*

В Петербурге некоторые помнят Гоголя щеголем; было время, что он даже сбрил себе волосы, чтобы усилить их густоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают, что у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из-за галстуха вечно торчали белые тесемки.

Сергей Тимофеевич Аксаков *(1791–1859), писатель, театральный критик, мемуарист, близкий знакомый Гоголя:*

Наружный вид Гоголя был тогда (в 1832 г. – Сост.) совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое.

Лев Иванович Арнольди *(1822–1860), чиновник по особым поручениям при калужском губернаторе Н. М. Смирновой, единоутробный брат А. О. Смирновой:*

Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в Москве у куаферов[3] и что он завивал свои волосы. Усами своими он тоже занимался немало.

Вера Александровна Нащокина *(1811(?)–1900), жена П. В. Нащокина, близкого друга А. С. Пушкина:*

Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцентом, немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой <…>.

Иван Иванович Панаев *(1812–1862), писатель, журналист, автор мемуаров. С 1847 г. – издатель журнала «Современник» (совместно с Н. А. Некрасовым):*

Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на щегольство, волосы были завиты, и клок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Наружность Гоголя (в 1839 г. – Сост.) так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь

ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.

Дмитрий Константинович Малиновский *(ум. 1871), преподаватель математических наук во 2-й Московской военной гимназии, встречался с Гоголем в 1848–1849 гг.:*

Небольшой рост, солидный сюртук, бархатный глухой жилет, высокий галстух и длинные темные волосы, гладко падавшие на острый профиль. Разговаривая или обдумывая что-нибудь, Гоголь протряхивал головой, откидывая волосы назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы свои; при этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его лице, когда он, доверчиво разговаривая, поглядывал нам в лицо. Когда беседа не оживляла его, он сидел, немного откинувшись назад и несколько сгорбившись, как будто утомленный или углубленный в продолжительную думу. Бывали также минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по комнате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая будто бы его кровь.

Иван Константинович Айвазовский *(1817–1900), живописец:*

Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимою веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу.

С. А. Ермолова (урожд. Черткова):

Было в нем что-то обаятельное. Чудесные глаза, проницательные и в то же время кроткие и добрые, то задумчивость, то шутливость производили впечатление неизгладимое. Гоголь был носаст; у красавицы Елиз. Григ. Чертковой также был большой, но изящный нос. Сопоставление этих носов давало Гоголю повод к разным шуткам.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, «потому что христианин не должен быть печален», и художник подметил очень удачно привлекательную улыбку, оживлявшую уста поэта; но глазам его он придал выражение тихой грусти,

от которой редко бывал свободен Гоголь.

Федор Иванович Иордан *(1800–1883), художник-гравер, знакомый Гоголя по Риму:*

Портрет, писанный Моллером, – верх сходства; мне пришлось два раза гравировать с него.

Николай Васильевич Берг *(1824–1884), поэт и переводчик:*

О портрете работы Моллера (опять-таки не портретиста) слышал я, что он заказан был Гоголем для отсылки в Малороссию, к матери, после убедительных просьб целого его семейства. Гоголь, по-видимому, думал тогда, как бы сняться покрасивее; надел сюртук, в каком никогда его не видали ни прежде, ни после; растянул по жилету невероятную бисерную цепочку; сел прямо, может быть для того, чтоб спрятать от потомков сколь возможно более свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен.

Павел Васильевич Анненков *(1812–1887), литературный критик, мемуарист, первый биограф А. С. Пушкина:*

Проезжая через Париж в 1846 году, я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. <А. П.> Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы De la Paix. На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому-то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по-старому, длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения.

Николай Васильевич Берг:

В первый раз встретился я с Гоголем у С. П. Шевырева – в конце 1848 года. <…>

Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли, говоря между собою. Ходил только один небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми

и проницательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого немного с физиономиями хохлов – хохол был тут виден сразу. Я сейчас сообразил, что это Гоголь, больше так, чем по какому-либо портрету. Замечу здесь, что ни один из существующих портретов Гоголя не передает его как надо. Лучший – это литография Горбунова с портрета Иванова, в халате. Она, случайно, вышла лучше оригинала; что до сходства: лучше передала эту хитрую, чумацкую улыбку – не улыбку, этот смех мудреного хохла как бы над целым миром…

Лев Иванович Арнольди:

(Происходило это в 1849 году. – Сост.). Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными a la moujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь! Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одною рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление.

Григорий Петрович Данилевский *(1829–1890), писатель, журналист, член совета Государственного управления по делам печати:*

(1851 г. – Сост.). Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица <…>. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге,

внимательно-задумчивые аисты.

Иван Сергеевич Тургенев *(1818–1883), писатель:*

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. <…> Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е<лаги>ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица. <…>

Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него.

Алексей Терентьевич Тарасенков *(1816–1873), известный московский врач:*

(1852 г. – Сост.). Ходил Гоголь немного сгорбившись, руки в карманы, галстук просто подвязан, платье поношенное, волосы длинные, зачесанные так, что покрывали значительную часть лба и всегда одинаково; усы носил постоянно коротенькие, подстриженные; вообще видно было, что он мало заботился

о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо, резко, и хотя не изысканно сладко, но фразы были правильные без поправки, слова всегда отчетливо выбранные.

Александр Павлович Толченов *(ум. 1888), актер, драматург:*

Голос был у Гоголя мягкий, приятный; глаза проницательные…

Характер

Александра Осиповна Смирнова *(урожд. Россет; 1810–1882), фрейлина императрицы, светская красавица, знакомая А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, мемуаристка:*

Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается.

Василий Игнатьевич Любич-Романович *(1805–1888), поэт, переводчик, товарищ Гоголя по Нежинской гимназии:*

Вообще Гоголь не любил подражать кому бы то ни было, ибо это была натура противоречий. Все, что казалось людям изящным, приличным, ему, напротив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, напр., по стенам, у столов, а в углах и посредине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете. Ходил он по улицам или по аллеям сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Ему посылали вслед: «Невежа!» Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал недосягаемыми, говоря: «Грязное к чистому не пристанет. Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно». Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом одного из воспитанников, за что тот сказал ему: «Дурак!» – «Ну, ты умный, – ответил Гоголь, – и оба мы соврали». Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-нибудь, или сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но в общем он вовсе не был зол. Так, он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, и всегда говорил ему: «Извините», если нечего было вложить тому в руку. <…>

Гоголь часто не договаривал того, что хотел сказать, опасаясь, что ему не поверят и что его истина останется непринятой. Из-за этого он получил прозвище «мертвой мысли», т. е. человека, с которым умрет все, что он создал, что думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что мыслил. Скрытность эта сделала Гоголя застенчивым, молчаливым. Гоголь был молчалив даже в случаях его оскорбления. – «Отвечать на оскорбление? – говорил он. – Да кто это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше всяких оскорблений, не считаю

себя заслуживающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя». Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выговоры начальства, касавшиеся его неряшества. Например, ему многократно ставилась на вид его бесприческа. Растрепанность головы Гоголя вошла у нас в общую насмешку. Голова у него едва ли когда причесывалась им; волосы с нее падали ему на лицо нерасчесанными прядями. Стричься он также не любил часто, как этого требовало от нас школьное начальство. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники, было никак нельзя. – «Что я за попугай! – говорил он. – Я сам знаю, что мне нужно». Его оставляли в покое, «с предупреждением впредь этого не делать». Но он всегда делал так, как хотел.

Виктор Павлович Гаевский *(1826–1888), историк литературы:*

По словам одного из товарищей Гоголя, В. М. П-ки, жившего с ним несколько времени в Петербурге, не было человека скрытнее Гоголя: по словам его, он умел сообразить средство с целью, удачно выбрать средство и самым скрытным образом достигать цели.

Павел Васильевич Анненков:

Он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским асессором». – Это надо… – говорил он приятелю, его сопровождавшему.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» – и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

Алексей Дмитриевич Галахов *(1807–1892), историк литературы, литературный критик, журналист, мемуарист, составитель популярной хрестоматии по истории русской литературы:*

Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним (ведь они оба были хохлы). Раз, – говорит он, – прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый. – «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». – «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился впляс и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» – «У Аксаковых». – «Прекрасно: и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова, Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича». – «С чем?» – «Он кончил вторую часть „Мертвых душ“». Гоголь вдруг вскакивает: «Что за вздор! от кого ты это слышал?» – Щепкин пришел в изумление: «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». – «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне»…

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Переменчивость в настроении души Гоголя обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов. Так, однажды весною он объявил, что едет в Малороссию, и, действительно, совсем собрался в дорогу. Приходят к нему проститься и узнают, что он переехал на дачу. Н. Д. Белозерский посетил его там. Гоголь занимал отдельный домик с мезонином, недалеко от Поклонной горы, на даче Гинтера. – «Кто же у вас внизу живет?» – спросил гость. «Низ я нанял другому жильцу», – отвечал Гоголь. «Где же вы его поймали?» – «Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая странная случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают. Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи? – Публиковал. – Нельзя ли мне воспользоваться? – Очень рад. Позвольте узнать вашу фамилию. – Половинкин. – Так и прекрасно! Вот вам и половина дачи. – Тотчас без торгу и порешили». Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного Половинкина. Гоголь, вставши раз очень рано и увидев на термометре восемь градусов тепла, уехал в Малороссию, и с такою поспешностью, что не сделал даже никаких распоряжений касательно своего зимнего платья, оставленного в комоде. Потом уже он писал из Малороссии к своему земляку

Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешенным.

Михаил Петрович Погодин *(1800–1875), историк, археолог, журналист, друг Гоголя, в доме которого писатель неоднократно останавливался во время своих приездов в Москву:*

Он никогда не мог поспеть никуда к назначенному сроку и всегда опаздывал. Его нельзя было вытащить никуда, иначе как после нескольких жарких приступов.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи и в молодости, как сам он мне говорил, имел страстишку к приобретению разных ненужных вещиц: чернильниц, вазочек, пресс-папье и проч. Страсть эта могла бы, без сомнения, развиться в громадный порок Чичикова – хозяина-приобретателя. Но, отказавшись раз навсегда от всяких удобств, от всякого комфорта, отдав свое имение матери и сестрам, он уже никогда ничего не покупал, даже не любил заходить в магазины и мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать скорей другого: omnia mea mecum porto[4], – потому что с этим чемоданчиком он прожил почти тридцать лет, и в нем действительно было все его достояние. Когда случалось, что друзья, не зная его твердого намерения не иметь ничего лишнего и затейливого, дарили Гоголю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он приходил в волнение, делался скучен, озабочен и решительно не знал, что ему делать. Вещь ему нравилась, она была в самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи требовался и приличный стол, необходимо было особое место в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продолжалась нерешительность, и успокаивался только тогда, когда дарил ее кому-нибудь из приятелей. Так в самых безделицах он был тверд и непоколебим. Он боялся всякого увлечения. Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал, кажется, в 5000 р. с., и он тотчас же отдает его, под большою тайною, своему приятелю профессору для раздачи бедным студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению; а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам.

Федор Иванович Иордан:

Доброта Гоголя была беспримерна, особенно ко мне и к моему большому труду «Преображение». Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило

мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру. <…> Гоголь многим делал добро рекомендациями, благодаря которым художники получали новые заказы.

Павел Васильевич Анненков:

Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. <…> Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. <…> Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия… Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа.

Александра Осиповна Смирнова:

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню. Вообще он был охотник заглянуть в чужую душу. Я полагаю, что это был секрет, который создал его бессмертные типы в «Мертвых душах». В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа.

Павел Васильевич Анненков:

Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались

и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами и – глубоко практическими умами. < …. >

Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему.

Лев Иванович Арнольди:

Кто знал Гоголя коротко, тот не может не верить его признанию, когда он говорит, что бóльшую часть своих пороков и слабостей он передавал своим героям, осмеивал их в своих повестях и таким образом избавлялся от них навсегда. Я решительно верю этому наивному откровенному признанию. Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно боролся с своими слабостями и от этого часто впадал в другую крайность и бывал иногда так странен и оригинален, что многие принимали это за аффектацию и говорили, что он рисуется. Много можно привести доказательств тому, что Гоголь действительно работал всю свою жизнь над собою, и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя.

Павел Васильевич Анненков:

Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Что касается до созерцания смерти, известно, как подействовал на весь организм его гроб г-жи Хомяковой, за которым он сам последовал вскоре в могилу. Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил

на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 18 декабря 1847 г.:*

Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно, я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и через него обогатилась моя голова, если он подтолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если через него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уж того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит.

Творчество

Николай Васильевич Гоголь, *в разговоре с А. О. Смирновой:*

Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною ясностью. А если я прочитаю написанное еще не оконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет.

Анна Васильевна Гоголь *(1821–1893), сестра Гоголя:*

…Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях; даже намека о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил.

Федор Васильевич Чижов *(1811–1877), сослуживец Гоголя по Петербургскому университету, профессор математики, впоследствии финансист и предприниматель:*

Помню я только два случая, показавшие мне прием художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал:

– Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, вроде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать.

Я отвечал:

– Однако ж, чтоб увериться, что точно эта ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи.

– Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал где-нибудь в обществе.

В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал:

– Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли.

Владимир Александрович Соллогуб, *граф (1814–1882), писатель, в 1840–1850 гг. хозяин литературного салона в Петербурге:*

Он постоянно мне говорил: «Пишите, поставьте себе

за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать». – «Да что ж делать, – возражал я, – если не пишется?» – «Ничего… Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец надоест и напишется». – Сам же он так писал и был всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели.

Александра Осиповна Смирнова:

У Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения, уловленные оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и пр. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя – сцены и описания в его творениях. – «Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией».

Гоголь, при всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми. – «Мне это вовсе неинтересно, – говорил он, как бы оправдываясь, – но мне необходимо это для моих сочинений». В Калуге он как-то перезнакомился в гостином дворе со всеми купцами и лавочниками.

Павел Васильевич Анненков:

В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай… Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». <…>

Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам,

наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице… Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойственен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностию требований. <…> Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки*, со всяким специальным человеком, который далее своей

специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки <…> и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему.

Александр Павлович Толченов:

Слушал же с большим вниманием всевозможные рассказы, особенно касавшиеся русской жизни; с заметным удовольствием ловил в рассказах характеристические черты разных сословий, с любопытством расспрашивал об особенностях одесской жизни и, если предмет его интересовал или был ему мало знаком, настойчиво добивался от рассказчика объяснения мельчайшей подробности.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Он предложил мне: «Хочешь, пойдем к мужикам, посмотрим, как они живут». Я с удовольствием пошла с ним. Входим в первую избу, там застали только одну молодицу. Она с таким радушием просила нас садиться на лавку, говорила: «А мени сю ничь приснилось, что в мою хату влетели дви птычки. Оцеж против того и приснилося, що вы пришли». В это время положила солому в печь и сжарила нам яишницу; чтобы ее не обидеть, немного поели. Потом пошли в другую избу. Там увидели – в сенях чистота, аккуратно висели ведра и разные хозяйственные принадлежности; как видно, зажиточный мужик. И в хату взглянули, но нас не просили садиться. Брат посмотрел и похвалил его, сказал: «Видно, что трудящиеся люди». А к другому зашли – в сенях пустота, в хате тускло. Брат сказал ему: «Надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было». Дальше не захотел: на трех хатах увидел, как они живут.

Дмитрий Александрович Оболенский, *князь (1822–1881), чиновник, товарищ министра государственных имуществ, член Государственного совета:*

Утром, во время пути, при всякой остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много

новых слов, которые у него пойдут в дело.

Николай Дмитриевич Мизко *(1818–1881), историк литературы и библиограф:*

Меня собственно, как уроженца и жителя Екатеринославской губернии, Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах, в котором я был; узнав же о намерении моем побывать за границею, сделал несколько замечаний о плане и удобствах заграничного путешествия.

Через день я сделал визит Гоголю в квартире его, в доме Трощинского. Это было около двух часов дня. Он стоял у конторки и, когда я вошел, встретил меня приветливо. Я представил ему экземпляр моего сочинения: «Столетие русской словесности». <…> Он благодарил меня пожатием руки и потом спросил: «Вы, кажется, еще что-то издали в Одессе?» Я ответил, что напечатал «Памятную записку» о жизни моего отца в небольшом количестве экземпляров, собственно для родных и друзей, и просил его принять от меня экземпляр, так как, по сочувствию его к человечеству, он сродни и лучший друг каждому человеку. Он благодарил меня и сказал: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии или записки действительно жившего человека».

Николай Васильевич Гоголь. *«Выбранные места из переписки с друзьями». Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»:*

Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей.

<…> Но достоинство это <…> не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков,

все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*. Я не любил никогда моих дурных качеств. <…> По мере того как они стали открываться, чудным высшим вкушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует <…>. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. П. Шевыреву 18 февраля 1843 г., из Рима:*

Вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творенья.

Иван Федорович Золотарев *(1812–1881), воспитанник Дерптского университета, попутчик Гоголя, чиновник:*

Когда Гоголь начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил (в Риме, в 1836–1837 гг. – Сост.), отличавшуюся весьма скромными размерами, где и проводил в работе почти безвыходно несколько дней.

Яким Нимченко *(около 1803–1885), крепостной слуга Гоголя. В записи В. П. Горленко:*

Писал Гоголь иногда днем, но чаще вечером. Тогда никого не пускал. Сидел ночью долго, пока две свечи не сгорят.

Григорий Петрович Данилевский:

– Мы видели у него груду исписанных бумаг, – сказал я.

– Он марает целые дести, – сказал И. С. Аксаков, – переделывает, пишет и опять обрабатывает; как живописец с кистью: то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза?

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в типографии не всегда могли разобрать его руку. В это время рассказчику (Якиму Нимченко. – Сост.) часто приходилось бегать в типографию на Большую Морскую, иногда раза по два в день. «Прочтет Николай Васильевич, вписывает еще на печатных листах, тогда несет обратно».

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других; да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукою каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений.

Николай Васильевич Берг:

Писал Гоголь довольно красиво и разборчиво, большею частью на белой почтовой бумаге большого формата. Такими бывали по крайней мере последние, доведенные до полной отделки его рукописи.

Николай Васильевич Гоголь. *В записи Н. В. Берга:*

Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где не хватит места –

взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час – вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз – как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

И переписанные набело сочинения он все откладывал отдавать в цензуру, отзываясь тем, что желает еще исправить некоторые места, которые кажутся не совсем вразумительными.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь очень часто употреблял слово «слишком». Это одна из особенностей его слога, часто неправильного, иногда запутанного, но в котором зато было так много крупного, сильного и мало той легкости, с которой пишутся некоторые русские фельетоны, заботящиеся не о силе слога, верности, меткости, а только о правильности языка.

Николай Васильевич Берг:

Шевырев исправлял, при издании сочинений Гоголя, даже самый слог своего приятеля, как известно, не особенно заботившегося о грамматике. Однако, исправив, должен был все-таки показать Гоголю, что́ и как исправил, разумеется если автор был в Москве. При этом случалось, что Гоголь скажет: «Нет, уж оставь по-прежнему!» Красота и сила выражения иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 2 декабря 1850 г., из Одессы:*

Работа – моя жизнь. Не работается – не живется, хотя покуда это и не видно другим. <…> Я уже испытал, что дело идет у меня как следует только тогда, когда все утруждение, нанесенное голове поутру, развеется в остальное время дня прогулкой и добрым движеньем на благорастворенном воздухе <…>. Если это не делается, голова на другой день тяжела, не способна к работе. И никакие движенья в комнате (сколько их ни выдумывал) не могут помочь. Слабая натура моя так уже устроилась, что чувствует жизненность только там, где тепло ненатопленное.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. П. Шевыреву 10 августа 1839 г., из Вены:*

Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро… <…> Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге.

Николай Васильевич Гоголь. *В записи Н. В. Берга:*

Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Дженсано и Альбано, в июле месяце. Середи дороги, на бугре,

стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. П. Шевыреву 28 февраля 1843 г., из Рима:*

Путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обра<ти>ть в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляну всю Европу.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма гр. Л. А. Перовскому или кн. П. А. Ширинскому-Шихматову, или шефу жандармов графу А. Ф. Орлову 10–18 июля 1850 г., из Васильевки:*

Писателю, приобыкшему созерцать, бывает необходимо временное отдаленье от предмета, который он видел вблизи, затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза.

Образ жизни и особенности поведения

Павел Васильевич Анненков:

Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда (в середине 1830-х гг. – Сост.) в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и, наконец, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия.

Дмитрий Михайлович Погодин *(1836–1890), сын М. П. Погодина:*

С прислугою он обращался вежливо, почти никогда не сердился на нее, а своего хохла-лакея ценил чрезвычайно высоко.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Вставал он в шесть часов, выпивши кофе, занимался. Писал на конторке, всегда стоя. До обеда мы не виделись с ним, потом, погуляв в саду, приходил к нам. В час обедали, после обеда в гостиной с нами посидит два часа, и все за работой; и он придумал себе работу: раскрашивал библейские картины, говорил, чтобы я эти картины раздала мужикам и рассказывала им историю этих картин. Потом отправлялся пешком в Яворивщину, но что он там делал – не знаю. Возвращался на вечерний чай, за чаем разговаривал, но о чем – я не слышала. После чая отправлялся в флигель. И так он проводил время каждый день.

Лев Иванович Арнольди:

По приезде в Калугу (в 1849 г. – Сост.) Гоголь и я поместились во флигеле, в двух комнатках рядом. По утрам Гоголь запирался у себя, что-то писал, всегда стоя, потом гулял по саду один и являлся в гостиную перед самым обедом. От обеда до позднего вечера он всегда оставался с нами или с сестрой, гулял, беседовал и был большую часть времени весел; с чиновниками и их женами он знакомился мало и неохотно,

а они смотрели на него с любопытством и некоторым удивлением. <…>

(Летом 1850 г. – *Сост.*). Гоголь жил подле меня во флигеле, вставал рано, гулял один в парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили с ним купаться. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили иногда на дрогах гулять, к соседям или в лес.

Вера Александровна Нащокина:

Общества малознакомых людей он сторонился. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил.

Иван Константинович Айвазовский:

Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые.

Александр Павлович Толченов:

Новых лиц, новых знакомств он, действительно, как-то дичился. Бывало, когда в комнату, в которой Гоголь обедал с своими постоянными собеседниками, входило незнакомое ему лицо, Гоголь замолкал, круто обрывая разговор. Но если присутствующие встречали вошедшего дружески и радушно, Гоголь сейчас же переставал дичиться и спокойно продолжал разговор. Если же встреча вошедшему была только официально вежлива, то Гоголь уходил в самого себя и решительно не говорил ни слова, пока появившийся господин не скрывался.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь был туг на новое знакомство. Он утверждал, что вести знакомство можно только с теми, у кого чему-либо можно научиться или кого можно научить чему-либо. Познакомившись и заинтересовавшись человеком, Гоголь или внимательно слушал его, или обучал иногда самым элементарным истинам или просто

вопросам практической жизни. Толкуя их по-своему и придавая им особое значение, он смущал этим людей, а натуры обыденные, любящие говорить свысока самые банальные истины, приводил в негодование. Они не на шутку сердились на расточавшего непрошеные поучения.

Петр Петрович Соколов *(1821–1899), художник:*

Однажды Булгакова посетил Гоголь и пресерьезно осматривал его коллекцию портретов и рисунков. Не заметив, что на диване сидел какой-то важный генерал, и к тому же очень щепетильный, Гоголь долго стоял над диваном, рассматривая висевшую над ним картину, не замечая сидевшего генерала, бесившегося от злобы. «Я заметил, – рассказывал Булгаков, – что Гоголь, не видя этого петуха, осеняет его своим длинным носом, и стал их представлять. „Mon cher, – сказал я генералу, моему старому приятелю, – je te presente la personne du célèbre Gogol, l'écrivain“[5]. Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслыханного sans fagon[6] обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия».

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Н. В. был в душе хлебосол, как всякий истинный малоросс, и только обстоятельства сдерживали его, то один день в году он считал своею обязанностью как бы рассчитаться со всеми своими знакомыми наславу, и в этот день он уже ничего не жалел. То был Николин день – его именины 9-го мая. Злоба дня, весь внешний успех пиршества, сосредоточивался на погоде. Дело в том, что обед устраивался в саду, в нашей знаменитой липовой аллее. Пойди дождь, и все расстроится. Еще дня за два до Николы Николай Васильевич всегда был очень возбужден: подолгу беседовал с нашим старым поваром Семеном, но кончалось всегда тем, что старый Семен при составлении меню нес под конец такую галиматью, что Гоголь, выйдя из себя, кричал: «Ты-то уйдешь!» – и, быстро одевшись, отправлялся в купеческий клуб к Порфирию. Кроме Порфирия, славился еще повар Английского клуба Басанин, отец молодого талантливого доктора, Ивана Афанасьевича, рано похищенного смертию у науки. Следовательно, выбор был нетруден, и цены брали

подходящие. Обыкновенно Н. В. тянуло более к Порфирию на том основании, что он готовил хотя и проще, но зато пожирнее, да и малороссийские кушанья знал отлично. С кулинарною частию дело устраивалось без затруднения, оставалось вино; но тут тоже выходило не по-нынешнему: отец писал такого рода записку: «Любезный Филипп Федорович (Депре), пришлите, пожалуйста, сколько нужно вина человек на 40–50, по вашему выбору, оставшиеся целыми бутылки будут возвращены». Вино присылалось отличное, прекрасно подобранное; со счетом не приставали: были деньги, Гоголь сейчас платил, а нет – ждали. Сад был у нас громадный, на 10 000 квадратных сажен, и весной сюда постоянно прилетал соловей. Но для меня собственно вопрос состоял в том: будет ли он петь именно за обедом; а пел он большею частию рано утром или поздно вечером. Я с детских лет имел страсть ко всякого рода певчим птицам, и у меня постоянно водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвями, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг ножей и громкие разговоры мои птицы оживали: один свистнет, другой откликнется, и начинается дробь и дудка. Гости восхищались. «Экая благодать у тебя, Михаил Петрович, умирать не надо. Запах лип, соловьи, вода в виду, благодать, да и только».

Надо сказать, что Н. В. был посвящен в мою соловьиную тайну и сам оставался доволен, когда мой птичий концерт удавался, но никому, даже отцу, не выдавал меня. Кто были гости Гоголя? Всех я не могу припомнить, но в памяти у меня сохранились следующие лица: Нащокин, когда был в Москве, Н. А. Мельгунов, Н. Ф. Павлов, Михаил Семенович Щепкин, Пров Михайлович Садовский, Васильев, С. П. Шевырев, Вельтман, Н. В. Берг, известный остряк Юрий Никитьевич Бартенев, знаменитый гравер Иордан, актеры Ленский и Живокини, С. Т. Аксаков, К. С. Аксаков и много других, которых я уже и не запомню. Обед кончался очень поздно, иногда варили жженку. Разговоры лились неумолкаемо. Пров Михайлович Садовский, нечего таить греха, находился всегда уже в легком подпитии и по общей просьбе начинал рассказывать: о капитане Копейкине, о Наполеандре Бонапарте, или неподражаемый рассказ о том, как пьяному мужику все кажется, что у него в ушах «муха жужжит». Вся тонкость этого последнего рассказа состояла в том, чтобы голос вибрировал на разные тоны. Обоймет он, бывало, одну из лип левой рукой, а правой как бы отмахиваясь от мнимой мухи, лезшей ему в ухо, и начинает на разные лады: «муха жужжит». А мимика, выражение глаз при этом не поддаются никакому описанию. <…> Сам дорогой

именинник Н. В. в этот день из нелюдимого, неразговорчивого в обществе превращался в расторопнейшего, радушнейшего хозяина; постоянно наблюдал за всеми, старался, чтобы всем было весело, чтобы все пили и ели, каждого угощал и каждому находил сказать что-нибудь приятное. Из нескольких именинных дней, празднованных в нашем доме, я помню, что раза два случалась дурная погода, тогда обед происходил в доме, но и это имело свою хорошую сторону: Николая Васильевича, несмотря на сильное сопротивление с его стороны, все-таки удавалось уговорить прочесть что-нибудь. Долго отбивается Гоголь; но, видя, что ничто не помогает, нервно передергивая плечами, взберется, бывало, в глубь большого, старинного дивана, примостится в угол с ногами и начнет читать какой-нибудь отрывок из своих произведений. Но как читать? – и представить себе невозможно: никто не пошевельнется, все сидят, как прикованные к своим местам… Обаяние чтения было настолько сильно, что когда, бывало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, – очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух…

<…> Общество в день именин расходилось часов в одиннадцать вечера, и Н. В. успокаивался, сознавая, что он рассчитался со своими знакомыми на целый год.

Николай Васильевич Берг:

Хозяин представил меня. Гоголь спросил: «Долго ли вы в Москве?» – И когда узнал, что я живу в ней постоянно, заметил: «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще!» – Это была обыкновенная его фраза при встречах со многими, фраза, ровно ничего не значившая, которую он тут же и забывал. <…>

Он держал себя большей частью в стороне от всех. Если он сидел и к нему подсаживались с умыслом «потолковать, узнать: не пишет ли он чего-нибудь нового?» – он начинал дремать, или глядеть в другую комнату, или просто-запросто вставал и уходил. Он изменял обыкновенным своим порядкам, если в числе приглашенных вместе с ним оказывался один малороссиянин, член того же славянофильского кружка. Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол и говорили нередко между собою целый вечер, горячо и одушевленно, как Гоголь (при мне по крайней мере) ни разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов.

Если ж не было малороссиянина, о котором я упомянул, – появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам,

взглянет; посидит где-нибудь на диване, большей частью совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, бог весть где летая в то время своими мыслями, – и был таков.

Иван Сергеевич Тургенев:

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко.

Павел Васильевич Анненков:

Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Алексей Константинович Толстой. *В записи П. А. Кулиша:*

Когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды, – это было в присутствии графа А. К. Толстого (поэта), – Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене. «Чьи это часы?» – спросил он. «Мои», – отвечал Жуковский. «Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь». С этими словами Гоголь надел цепочку на шею,

положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

Федор Иванович Иордан:

Гоголь сидел обыкновенно опершись руками о колени, зачастую имея перед собою какие-нибудь мелкие покупки: они развлекали его.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: «Не надо ли чего?» – «Войдите», – откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно», – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он, иногда прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали; иногда же бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило – на целый день уже и не показывайся ему.

Иван Федорович Золотарев:

У Гоголя была привычка, поймав какое-нибудь слово или рифму, которые ему почему-либо понравились, повторять их в течение нескольких дней.

Варвара Николаевна Репнина*, княжна (1809–1891), знакомая Гоголя по Бадену:*

У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно.

Александра Осиповна Смирнова:

Вот что раз случилось: я взошла в гостиную, думая, что никого нет, и вдруг увидела Гоголя на диване с книгой в руках. Он держал в руке Четьи-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда я взошла, он как будто испугался. Ему, должно быть, показалось, что кто-то явился. Глядел – жду. «Николай Васильевич, что вы тут делаете?» Как будто проснулся. «Ничего. Житие (в июле) такого-то». Что-то приятное: молился он, что ли, – в экстазе. Чуть ли не Косьмы и Дамиана.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

По его действиям, как я замечала, видно, что он обратился более всего к Евангелию, и мне советовал, чтобы постоянно на столе лежало Евангелие. Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие.

Жилище

Яновщина. Родовое имение

Григорий Петрович Данилевский:

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.

Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной через Харьков, в Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину (Васильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла Кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Тараса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над травой, с своими колючими косами; тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрохва[7], как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдали от телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги, перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми, крылатыми ракетами.

– Где хутор Гоголя? – спрашивал я изредка встречавшихся путников.

– Гоголя? Не знаем! – отвечали они.

Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.

– Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.

И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку Рудого Панька.

От Опошни до с. Воронянщины я ехал, вследствие нестерпимого жара, почти шагом. Всю дорогу за мною, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью.

До села Яновщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором. <…>

Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых, отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленою крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора, вперемежку с садами; слева от церкви – левада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви – сквозная, в виде решетки, из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господский деревянный дом с красною деревянною крышею, в один этаж; направо от него – флигель, налево – хозяйские постройки: кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый, тенистый сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды; за ними – неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. <…>

Гоголь в последние четыре года в свои приезды к матери обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20-го апреля по 22-е мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель – низенькое, продолговатое строение, с крытою галереей, выходящею во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в пространную комнату, род залы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете – поочередно – работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил

иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это – комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор; между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери – печь; вправо – дубовый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. <…> Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой, лишней двери. Это – на высоких ножках конторка из грушевого дерева, с косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые. <…>

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцов клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая, дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная беседка, разрушенная бурею вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом, двухвесельном плоту. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом – широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал

с особым участием.

– Вот туда, за церковь, – заметила Марья Ивановна, указывая, – сын любил по вечерам один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Прежде, когда он приезжал, то занимал комнату в доме с нами; а как сестры заняли его комнату, тогда он постоянно в флигеле занимался. В одной комнате стояла его кровать и конторка, на которой он занимался, а в другой комнате, между окнами – ломберный стол; там лежали его книги, которые он с собою привозил. Потом заказал столяру полки, вроде этажерки, на тот стол поставил для книг. Конторку желтую, на которой он прежде занимался, также сестры заняли, то он заказал сделать себе черную конторку. В этой самой комнате еще стоял диван, перед диваном круглый стол, по бокам кресла; там он пил кофе, а третьей комнаты не занимал.

1833–1836. В Петербурге, на Малой Морской улице, 97

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него.

1841. Квартира в Риме. Strada Felice, 126

Павел Васильевич Анненков:

Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни извнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову,

а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро, да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей.

Дом М. П. Погодина в Москве

Афанасий Афанасьевич Фет *(1820–1892), поэт:*

На восходящей от парадного крыльца стеклянной галерее шла налево дверь в переднюю, из которой неширокий коридор проходил через весь дом до противоположного, девичьего крыльца, отделяя большую половину дома, с приемной, обширной гостиной, превращенной в кабинет Погодина, с балконом на Девичье Поле, от домашних помещений. За парадной анфиладой находилась спальня и вообще женские комнаты. За глухою стеной погодинского кабинета находилась довольно обширная столовая, освещаемая сверху стеклянным куполом, крыша которого виднелась со всех пунктов Девичьего Поля. Снизу столовая эта представлялась снабженною хорами, но, в сущности, они была балюстрадой, ведущей в комнаты мезонина, в которых мне бывать не пришлось, но памятных тем, что там с полгода проживал Гоголь. В кабинете Погодина глазам непосвященного представлялся невообразимый хаос. Тут всевозможные старинные книги лежали грудами на полу, а на ореховых столах громадные каменные глыбы с татарскими и сибирскими надписями, не говоря уже о сотнях рукописей с начатыми работами, места которых, равно как и ассигнаций, запрятанных по разным книгам, знал только Погодин. Посредине коридора дверь направо шла мимо домашних комнат, в сад, начинавшийся лужайкою с беломраморной посредине вазой. Далее шла широкая и старинная липовая аллея до самого конца сада, с беседкою из дикого винограда. Кроме разнородных и тенистых деревьев, свешивавшихся через высокий деревянный забор на Девичье Поле, и обширных прудов, задернутых летом «зеленою сетью трав», при саде было большое количество земли, сдаваемые ежегодно под огородные овощи.

1850–1852. Москва. Квартира в доме Талызиной на Никитском бульваре. Последнее пристанище Гоголя

Осип Максимович Бодянский *(1808–1877), славист, профессор Московского университета (с 1842), секретарь Общества истории и древностей российских (с 1845). Из дневника:*

12 мая <1850 г.>. Наконец я собрался к Н. В. Гоголю. Вечером в часов девять отправился к нему, в квартиру графа Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. У крыльца стояли чьи-то дрожки. На вопрос мой: «Дома ли Гоголь?» – лакей отвечал, запинаясь: «Дома, но наверху у графа». – «Потрудись сказать ему обо мне». Через минуту он воротился, прося зайти в жилье Гоголя, внизу, в первом этаже, направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей налево, а второй за ним, по другой стене); прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленой тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. На обоих столах несколько книг кучками одна на другой: тома два «Христианского чтения», «Начертание церковной библейской истории», «Быт русского народа», экземпляра два греко-латинского словаря (один Гедеринов), словарь церковно-русского языка, Библия в большую четвертку московской новой печати, подле нее молитвослов киевской печати, первой четверти прошлого века; на втором столе (от внешней стены), между прочим, сочинения Батюшкова в издании Смирдина «русских авторов», только что вышедшие, и проч.

Охота к перемене мест

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 28 декабря 1840 г., из Рима:*

О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительная для меня…

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 17 октября 1840 г., из Рима:*

С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 12 сентября 1845 г., из Греффенберга:*

Я тогда только и чувствовал себя хорошо, когда бывал в дороге. Дорога меня спасала всегда, когда я засиживался долго на месте или попадал в руки докторов, по причине малодушия своего, которые всегда мне вредили, не зная ни на волос моей природы.

Михаил Александрович Максимович *(1804–1873), этнограф, историк, профессор ботаники Московского университета:*

Его все занимало в дороге, как ребенка, и он часто, для выражения своих желаний, употреблял язык, каким любят объясняться между собою школьники. Так, например, ложась спать, он «отправлялся к Храповицкому», а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему спутнику: «Не пойти ли нам к Полежаеву?» Ходил он также к «Обедову» и к другим господам по разным надобностям, и все это без малейшего вида шутки. Когда надоедало ему сидеть и лежать в бричке, он предлагал товарищу «пройти пехандачка» и мимоходом собирал разные цветы, вкладывал их тщательно в книжку и записывал их латинские и русские названия <…>.

Во время дороги Гоголь, кроме обычных своих шуточек, вообще говорил мало, и в этом малом мысли его обращались преимущественно к предметам практической жизни. Так, например, он рассуждал о современной страсти к комфорту и роскоши и приходил к такому заключению, что «нам необходимо приучать себя к суровости жизни, а то комфорт и роскошь заводят нас так далеко, что мы проматываемся час

от часу более и наконец нам нечем жить». На этом основании он отвергал употребление в сельском быту рессорных экипажей, особенно для людей его состояния, и придумывал, как бы взять в этом случае средину между дорогим комфортом и грубою дешевизною.

Алексей Константинович Толстой, *граф (1817–1875), поэт, прозаик, драматург:*

Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился».

Актерский талант

Александр Семенович Данилевский *(1809–1888), земляк и друг детства Гоголя, учился с ним в Полтаве и в Нежине:*

Гоголь удивительно воспроизводил те черты, которые мы не замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Кроме мимики, Гоголь умел перенимать и голос других. Во время своего пребывания в Петербурге он любил представлять одного старичка, Б., которого он знавал в Нежине. Один из его слушателей, никогда не видавший этого Б., приходит раз к Гоголю и видит какого-то старичка, который играет на ковре с детьми. Голос и манеры этого старичка тотчас напомнили ему представление Гоголя. Он отводит хозяина в сторону и спрашивает, не Б. ли это. Действительно, это был Б.

Владимир Александрович Соллогуб:

Кто не слыхал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами.

Павел Васильевич Анненков:

Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его!

Тимофей Григорьевич Пащенко, *брат гимназического товарища Гоголя И. Г. Пащенко:*

На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щепкин с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так

превосходно, с такою неподражаемою интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул… Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не видал в жизни и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые готовились поступить на сцену: «Вот для вас высокий образец художника, вот у кого учитесь!»

Михаил Петрович Погодин:

Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать. Это было верх удивительного совершенства. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу», в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою – «в которой церкви вы были в прошлое воскресение? какой цветок больше любите?» – прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели буквально покатывались со смеху, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. В. А. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения их Гоголем.

Лев Иванович Арнольди:

Помню, что каждый вечер читал нам Гоголь «Одиссею» в переводе Жуковского и восхищался каждой строчкой. Читал он стихи превосходно и досадовал, когда мы не восхищались теми местами, на которые он особенно указывал <…>.

Александр Павлович Толченов:

После чаю все уселись вокруг стола, за которым сидел Гоголь; водворилась тишина, и Гоголь начал чтение «Школы женщин». По совести могу сказать – такого чтения я до тех пор

не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство это было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого при театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и вместе с тем необычайной образностью, и хотя порою, особенно в больших монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров. Впоследствии, на одном из вечеров у Оттона <…> Гоголь читал свою «Лакейскую», и лицо дворецкого еще до сих пор передо мною как живое. Перенять манеру чтения Гоголя, подражать ему, было бы невозможно, потому что все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном уменьи подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, то есть в том, что в сценическом искусстве называется созданием характера, типа.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже таковые свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!»

За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. <…>

Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, облепившееся состояние байбака Тентетникова, сидящего у окна с холодной

чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки.

Иван Сергеевич Тургенев:

Дня через два (в действительности через две недели, 5 ноября 1851 г. – Сост.) происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей, и – если не ошибаюсь – Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать – и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно… Я слушал его тогда в первый – и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело – и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» – Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного

происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор – и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды – и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было – как Гоголь сам выразился – не более, как намек, эскиз <…>.

Григорий Петрович Данилевский:

Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», – произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень

утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало ненадолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова.

Интересы и увлечения

Александр Семенович Данилевский:

Гоголь любил все искусства вообще, любил и петь; но, между тем, как он делал большие успехи в рисовании, пение не давалось ему благодаря недостатку музыкального слуха. Но в хоре (гимназическом. – Сост.) он участвовал, когда во время рекреаций воспитанники пели стихи:

> Златые наши дни, теките!
> Красуйся ты, наш русский царь!..

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь собирал (в 1830-е гг. – Сост.) английские кипсеки[8] с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных народов и на их художественные требования.

*Со слов **Александра Семеновича Данилевского**, в записи В. И. Шенрока:*

В первые же недели жизни Гоголя в Париже они с Данилевским успели вдвоем осмотреть все выдающиеся достопримечательности его: картинные галереи Лувра, Jardin des Plantes, съездили в Версаль и проч. Часто отправлялись они вместе в театр, преимущественно в оперу. Вместе ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в шутку «храмами», а после обеда подолгу оставались там играть на бильярде.

Александра Осиповна Смирнова:

Из Бадена Гоголь ездил со мной и с моим братом на три дня в Страсбург. Там в кафедральной церкви он срисовывал карандашом на бумажке орнаменты над готическими колоннами, дивясь избирательности старинных мастеров, которые над каждой колонной делали отменные от других украшения. Я взглянула на его работу и удивилась, как он отчетливо и красиво срисовывал. – «Как вы хорошо рисуете!» – сказала я. – «А вы этого и не знали?» – отвечал Гоголь. Через несколько времени он принес мне нарисованную пером часть церкви очень искусно.

Я любовалась его рисунком, но он сказал, что нарисует для меня что-нибудь лучше, а этот рисунок тотчас изорвал.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому, февраль 1839 г., из Рима:*

Моя портфель с красками готова, с сегодняшнего дня отправляюсь рисовать на весь день, я думаю, в Колисей. Обед возьму в карман. Дни значительно прибавились. Я вчера пробовал рисовать. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок. Если бы вы остались здесь еще неделю, вы бы уже не принялись за карандаш. Колорит потеплел необыкновенно, всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, кажется, воют к вам и просят красок.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Я. Прокоповичу 2 ноября 1837 г., из Рима:*

Если что-нибудь вышло по части русской исто<рии>, издания Нестора, или Киевской летописи, Ипатьевской, или Хлебниковского списка, – пожалуйста, пришли. Если вышел перевод «Славянской истории» Шафарика или что-нибудь относительно славян, или мифол<огии> слав<янской?>, также какие-нибудь акты к древней русск<ой> истории, или хорошее издание русских песень, или малорос<сийских> песень – все это возьми у Смирдина, пусть поставит на мой счет; также, если есть что новое насчет раскольничьих сект. Если вышло Снегирева описание праздников и обрядов, пришли, или другого какого-нибудь.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Гоголь любил ботанику. И всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. – «Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает», – говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя притом: – «Вот тут и сажай деревцо, где камень упал».

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 24 марта 1827 г., из Нежина:*

Весна приближается. Время самое веселое, когда весело можем провесть его. Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Это-то время было обширный круг

моего действия. Живо помню, как бы<ва>ло с лопатою в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкою… Признаюсь, я бы желал когда-нибудь быть дома в это время. Я и теперь такой же, как и прежде, жаркий охотник к саду.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

По другую сторону пруда у нас был сад. Там было вроде леса, никакой дорожки не было; брат принялся делать аллеи; прежде, как были люди крепостные – три дня панщина, а три дня их дни, то брат, чтобы не лишить матери работников, нанимал работников на их днях чистить дорожки. Сам там был по целым дням. Раз спросил у меня: «Ты можешь встать в три часа, чтобы побыть около работников, пока я приеду?» Я обещала встать и велела разбудить меня, как только солнце взойдет. Тогда у нас был плотик и мы переезжали на ту сторону. В семь часов брат приехал на плотике и с благодарной улыбкой поздоровался со мною и сейчас же отправил меня домой, сказал: «Иди спать». Итак, за все время, пока он пробыл у нас, прочистил все аллеи, которые и теперь поддерживаются.

Анна Васильевна Гоголь:

Из посаженных братом деревьев в обоих садах сохранились несколько кленов. Это было его любимое дерево.

Лев Иванович Арнольди:

Простившись с шоссе, поехали уже по большой калужской дороге. Гоголь продолжал быть в духе, восхищался свежею зеленью деревьев, безоблачным небом, запахом полевых цветов и всеми прелестями деревни. Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, какого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхождение и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим образовался у нас в тарантасе целый цветник желтых, лиловых, розовых цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими именами эти растения известны в народе и на что им употребляются. Терпеть не могу, прибавил он, эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те

старинные ботаники и русские и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело.

Павел Васильевич Анненков:

У Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости.

Григорий Петрович Данилевский:

Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери раскрашенную его рукой в виде широких голубых полос по белому полю, зал с белыми и желтыми полосами.

Елизавета Васильевна Гоголь *(в замужестве Быкова; 1823–1864), сестра Гоголя:*

Дома он очень входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; он сам раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной; наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует, – так он нарисовал бордюры, букеты и арабески. < … >

Квартиру (в Петербурге, в 1832 г. – *Сост.*) брат переменял при нас два раза и устраивал решительно все сам, кроме занавесок, которые шила женщина, но которые он все-таки сам кроил и даже показывал, как шить.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

В это пребывание свое в Москве (зимой 1840 г. – Сост.) Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage).

Александра Осиповна Смирнова:

У некоторых (купцов в Калуге, в 1849 г. – Сост.) засиживался и играл подолгу в шашки.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь всегда читал в «Инвалиде» статью о приезжающих

и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. Гоголь говорил: «Я постараюсь известить публику, что „Инвалид“ в фельетоне заключает интересные сведения. Мы в Калуге с Левой (Л. И. Арнольди) ежедневно читали эту интересную газету и вычитали раз, что прапорщик Штанов приехал из Москвы в Калугу, через три дня узнали, что он поехал в Орел. Из Орла он объехал наш город и поехал прямо в Москву. Из Москвы в дилижансе в столичный город Санкт-Петербург. Так было напечатано слово в слово в фельетоне „Инвалида“. Оттуда прямо в Москву, а из Москвы в Калугу, а из Калуги в Орел. Мы рассчитали, что прапорщик Штанов провел на большой дороге отпускные двадцать один день. А зачем он делал эти крюки, это неизвестно и осталось государственной тайной».

Гардероб

Иван Григорьевич Кулжинский *(1803–1884), преподаватель латинского языка в Нежинской гимназии (1825–1829):*

Окончив курс наук, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку.

Павел Васильевич Анненков:

(В 1832–1833 гг. – Сост.). Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9-го мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно яркопестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова).

Сергей Тимофеевич Аксаков:

(В 1832 г. – Сост.). В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Тогда (в середине 1830-х гг. – Сост.) братец был большим франтом: у него всегда в чемодане было несколько сюртуков, разных цветов, и целая коллекция жилетов, он, видно, очень любил разноцветные жилеты: каких только цветов и из каких только материй не было у него жилетов: и шелковые, и бархатные, и зеленые, и голубые, а однажды он привез с собою жилет из очень дорогой золотой парчи, которого однако почти никогда не надевал, а потом подарил его мне…

Петр Петрович Каратыгин, *сын драматического актера Петра Андреевича Каратыгина. Со слов отца*

(18 апреля 1836 г. – Сост.): Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами

и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках, все это придавало его фигуре нечто карикатурное.

Иван Федорович Золотарев:

Когда Гоголь был в Гамбурге (в 1836 г. – Сост.), то заказал себе все платье из тика, и, когда ему указывали, что он делает себя смешным, Гоголь возражал: «Что же тут смешного? Дешево, моется и удобно». Сделав себе упомянутый костюм, он написал четверостишие:

Счастлив тот, кто сшил себе
В Гамбурге штанишки.
Благодарен он судьбе
За свои делишки.

Четверостишие это он повторял потом целую неделю.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 13 мая 1838 г., из Рима:*

Белая шляпа уже давно носится на голове моей… но блуза еще не надевалась. Прошлое воскресение ей хотелось очень немного порисоваться на моих широких и вместе тщедушных плечах, по случаю предположенной было поездки в Тиволи; но эта поездка не состоялась.

Федор Иванович Иордан:

Часто встретишь его (в Риме, в 1838 г. – Сост.), бывало, в белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете <…>.

Павел Васильевич Анненков:

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время <…>.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

На другой день (27 ноября 1839 г. – Сост.) поутру я поехал

к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. <…> Наконец я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, – сказал Жуковский, – он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер[9]; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел <…>. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Гоголь любил уединенные прогулки (в Остенде, в 1844 г. – Сост.), и его видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти.

Николай Васильевич Берг:

(В 1848 г. – Сост.). Ходил он вечно в одном и том же черном сюртуке и шароварах. Белья не было видно. Во фраке, я думаю, видали Гоголя немногие. На голове, сколько могу припомнить, носил он большей частью шляпу, летом – серую, с большими полями.

Лев Иванович Арнольди:

(В 1849 г. – Сост.). Мы много смеялись, Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый[10] плащ и, казалось, вполне наслаждался чудным теплым июньским вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. <…>

Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голубого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное,

даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой день, опять без всякой причины, явится в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Одевался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об одежде, а зато в другой раз наденет что-нибудь очень безобразное, а между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покрасивее.

Александра Осиповна Смирнова:

(В 1849 г. – Сост.). В воскресенье он пил кофий с нами и приходил в полном параде, в светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете с золотыми пуговками и в темном синем фраке с большими золотыми пуговицами и в белой пуховой шляпе.

Иероним Иеронимович Ясинский *(1850–1931), писатель, поэт, переводчик, журналист, коллекционер, мемуарист:*

На нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский (со слов которого написан этот рассказ), в качестве франта, обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки.

Александр Павлович Толченов:

(В Одессе, в 1850–1851 гг. – Сост.). Постоянный костюм Гоголя состоял из темно-коричневого сюртука с большими бархатными лацканами; жилет из темной с разводами материи и черных брюк; на шее красовался или шарф с фантастическими узорами, или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крест-накрест обыкновенной булавкой; иногда на галстук выпускались отложные, от сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая, на легкой вате, с бархатным воротником. В морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндр с конусообразной тульей. Перчатки черные.

Григорий Петрович Данилевский:

(В 1851 г. – Сост.). Он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи.

Лев Иванович Арнольди:

Глава первого тома «Мертвых душ» оканчивается таким образом: один капитан, страстный охотник до сапогов, полежит, полежит и соскочит с постели, чтобы примерить сапоги и походить в них по комнате, потом опять ляжет и опять примеряет их. Кто поверит, что этот страстный охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего было очень немного, и платья и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как и тот капитан, формою своих сапогов, а после сам же смеялся над собою.

Гастроном

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

[В гимназии] он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь и сам его приготовлял из моченых лесных груш или покупал его на городском базаре у баб-хохлушек, таких же неряшливых, как и он сам. Но его ничуть это не стесняло, и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь любил лакомиться, и у него в карманах, особенно в детстве, всегда были какие-либо пряники, леденцы и т. п. Живя в гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, а собирал его, прятал где-нибудь в ящике и порою грыз куски за работою или разговором. «Зачем, – говорил он, – оставлять его хозяину гостиницы? Ведь мы за него уплатили». Происходило это, конечно, не от скупости. Гоголь никогда не был скупым.

Михаил Петрович Погодин:

Запас отличного чаю у него никогда не переводился, но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, – это уже только знал он, и никто более. Всякий день являлось что-нибудь новое, которое он давал сперва всем отведывать, и очень был рад, если кто находил по вкусу и одобрял выбор какою-нибудь особенною фразою. Ничем более нельзя было сделать ему удовольствия.

Елизавета Васильевна Гоголь *(в замужестве Быкова):*

Впрочем, он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья, и если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил: «Погоди, я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый, смотри – вот так, а другой – этак» и т. д. И пока я занималась представлением и смеялась, он съедал всю банку.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Я стала примечать, что он любит, то приготовляла ему. За обедом я ставила перед его прибором две маленькие вазы варенья, какие он любил <…>.

Вера Александровна Нащокина:

Любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые им макароны; он тут же за обедом и приготовлял их, не доверяя этого никому. Потребует себе большую миску и с искусством истинного гастронома начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте, людие!»

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Третьего числа (января 1840 г. – Сост.), часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке <…>. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и чорт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя, соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны

перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались.

Иван Федорович Золотарев:

Из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь».

Михаил Александрович Максимович:

На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь стал заказывать обед, выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то, помню только, что оно вовсе не было вкусно.

Павел Васильевич Анненков:

Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» – спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы.

Михаил Петрович Погодин:

Расскажу еще кстати один анекдот о Гоголе. После чаю он обыкновенно водил нас по Риму, и к двум часам приводил в гостиницу Лепри на Корсо или к Scalinata, близ Piazza di Spagna, обедать; но сам никогда ничего не ел, говоря, что не имеет аппетита и что только часам к шести может что-нибудь проглотить. Так он оставлял нас, и мы после обеда шли к Шевыреву или к учителю, который давал нам итальянские уроки. Так продолжалось недели две. Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с Бруни и разговорился о Гоголе. – «Как жаль, – сказал я, – что здоровье его так медленно поправляется!» – «Да чем же он болен?» – спрашивает меня

с удивлением Бруни. – «Как чем? – отвечаю я. – Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он не может есть ничего». «Как не может, что вы говорите? – воскликнул Бруни, захохотав изо всех сил. – Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых. Приходите, когда угодно, около шести часов к Фалькони». Отправились мы гурьбой на другой день к Фалькони. Это была маленькая, тесненькая траттория, в захолустье, вроде наших харчевен, если и почище, то немного. Но Фалькони славился отличной, свежей провизией. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попировать особо, и спросили себе бутылку Дженсано. К шести часам, слышим, действительно, является Гоголь. Мы смотрим через перегородку. Проворные мальчуганы, camerieri, привыкшие к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи… Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, – груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать… В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. – «Так-то, брат, – восклицаю я, – аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? Для кого же ты это все наготовил?» Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: «Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной; я вас угощу». – «Ну, так угости. Мы хоть и пообедали, но твои искусственные приготовления такие аппетитные…» – «Чего же вы хотите? Эй, камериере, принеси!» – и пошел, и пошел: agrodolce, di cigno, pelustro, testa di suppa Inglese, moscatello, и пр., и пр. Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит, и желудок у него расстроен.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому*

31 декабря 1838 г., из Рима:

Ты спрашиваешь, что я такое завтракаю. Вообрази, что ничего. Никакого не имею аппетита по утрам и только тогда, когда обедаю, в 5 часов, пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе Anglais, с маслом и прочими атрибутами. Обедаю же я не в Лепре, где не всегда бывает самый отличный материал, но у Фалькона, – знаешь, что у Пантеона? где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сыта, а какая-то crostata с вишнями способна произвесть на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала. Но увы! не с кем делить подобного обеда.

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь (в Риме, в 1841 г. – Сост.) поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. <…>

Почти каждое утро заставал я его в кофейной «Del buon gusto», отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни <…>.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь любил хорошо поесть и в состоянии был, как Петух, толковать с поваром целый час о какой-нибудь кулебяке; наедался очень часто до того, что бывал болен; о малороссийских варениках и пампушках говорил с наслаждением и так увлекательно, что у мертвого рождался аппетит; в Италии сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

За столом судил о винах с большими подробностями, хотя не обнаруживал никакого пристрастия к ним.

Александр Павлович Толченов:

Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда рюмку хереса, а так как собеседники его никогда не обедали без шампанского, то после обеда – бокал шампанского.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Водку он просил настаивать на белой нехворощи; говорил, что она полезна.

Со слов **Александра Семеновича Данилевского:**

Обедая в гостинице (в 1836 г., в Бремене. – Сост.) вместе с Данилевским, Гоголь неожиданно сказал ему торжественным тоном: «Потребуем старого, старого рейнвейна». Но вино ни ему, ни Данилевскому не понравилось вовсе. По воспоминанию Данилевского, оно было слишком «capiteux» (крепко) и не понравилось также соседям, бывшим с ними вместе за табль-дотом. За это удовольствие путешественники должны были заплатить наполеондор (20 франков) – цена довольно внушительная. По словам Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень экономно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн.

Федор Васильевич Чижов:

Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, – Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих – чаще всего Иванов – приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Когда поспел терн, я сказала брату: «Какая великолепная наливка из терну!» – «Как бы сделать?» – «Налить можно, но не скоро поспеет». – «Так сделаем скороспелку». Велел принести новый горшок, положил полный горшок терна, потом налил водку, накрыл ее, замазал тестом, велел поставить в печь, в такую, как хлеб сажают. На другой день вынули, поставили, пока простыло. Вечером открыли: цвет великолепный, и на вкус ему очень понравилось.

Александр Михайлович Щепкин *(1828–1885), сын актера М. С. Щепкина:*

Винам он давал, по словам М. С. (Щепкина. – Сост.), названия «Квартального» и «Городничего», как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а жженке, потому что зажженная горит голубым пламенем, – давал имя Бенкендорфа.

– А что? – говорил он М. С. после сытного обеда. – Не отправить ли теперь Бенкендорфа? – И они вместе приготовляли жженку.

Шутки, розыгрыши, проказы

Павел Васильевич Анненков:

Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины – меру <…>.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, – не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

Тимофей Григорьевич Пащенко:

Вот некоторые из оригинальностей Гоголя. Гимназия высших наук князя Безбородко разделялась на три музея, или отделения, в которые входили и выходили мы попарно; так водили нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был немец, З<ельднер>, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя: высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его как-то уродливо выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло… длинные руки болтались как будто привязанные; сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то странной прическою волос. Зато же длинными кривушами своими Зельднер делал такие гигантские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что, он и здесь: раз, два, три, и Зельднер от передней пары уже у задней; ну просто не дает нам хода. Вот задумал Гоголь умерить чрезмерную прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на Зельднера следующее четырехстишие:

Гицель – морда поросяча,
Журавлини ножки;
Той же чортик, що в болоти,
Тилько приставь рожки!

Идем, Зельднер – впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи – шагнет он, и уже здесь. «Хто шмела петь, што пела?» Молчание, и глазом никто не моргнет. Там запоют передние пары – шагает Зельднер туда – и там тоже; мы вновь затянем – он опять к нам, и снова без ответа. Потешаемся, пока Зельднер шагать перестанет, идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смеху. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и всем нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги Зельднера. Был у нас товарищ Р<иттер>, большого роста, чрезвычайно мнительный и легковерный юноша, лет восемнадцати. У Риттера был свой лакей, старик Семен. Заинтересовала Гоголя чрезмерная мнительность товарища, и он выкинул с ним такую штуку: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдаю за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза… но все еще сомневался и не хотел говорить тебе, а теперь вижу, что это несомненная истина – у тебя бычачьи глаза…»

Подводит Риттера несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в лице, дрожит, а Гоголь приводит всевозможные доказательства и наконец совершенно уверяет Риттера, что у него бычачьи глаза.

Дело было к ночи: лег несчастный Риттер в постель, не спит, ворочается, тяжело вздыхает, и все представляются ему собственные бычачьи глаза. Ночью вдруг вскакивает с постели, будит лакея и просит зажечь свечу; лакей зажег. «Видишь, Семен, у меня бычачьи глаза…» Подговоренный Гоголем лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза! Ах, боже мой! Это Н. В. Гоголь сделал такое наваждение…» Риттер окончательно упал духом и растерялся. Вдруг поутру суматоха. «Что такое?» – «Риттер сошел с ума! Помешался на том, что у него бычачьи глаза!..» – «Я еще вчера заметил это», – говорит Гоголь с такою уверенностью, что трудно было и не поверить. Бегут и докладывают о несчастье с Риттером директору Орлаю; а вслед бежит и сам Риттер, входит к Орлаю и горько плачет: «Ваше превосходительство! У меня бычачьи глаза!..» Ученейший и знаменитый доктор медицины директор Орлай флегматически нюхает табак и, видя, что Риттер действительно рехнулся на бычачьих глазах, приказал отвести его в больницу. И потащили несчастного Риттера в больницу, в которой и пробыл он целую неделю, пока не излечился от мнимого сумасшествия. Гоголь и все мы умирали со смеху, а Риттер вылечился от мнительности.

Замечательная наблюдательность и страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию высших наук. Но при занятии

науками почти не было времени для сочинений и письма. Что же делает Гоголь? Во время класса, особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облокачивается над книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике, да так искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени и ящик не удовлетворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился!.. Да, взбесился! Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях – «Гоголь взбесился!..» Сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают каким-то диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель – взбесился! Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча: Гоголь схватывает стул, взмахнул им – Орлай уходит… Оставалось одно средство: позвали четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы. Вот инвалиды улучили время, подошли к Гоголю, схватили его, уложили на скамейку и понесли, раба Божьего, в больницу, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного…

У Гоголя созрела мысль и, надо полагать, для «Вечеров на хуторе». Ему нужно было время – вот он и разыграл роль бешеного, и изумительно верно! Потом уже догадались.

Александр Семенович Данилевский:

Мы всегда ездили домой на вакации с Гоголем и с сыном моего отчима, Барановым. Помню один забавный случай с надзирателем Зельднером. Зельднер навязался ехать с нами. Коляску прислали четвероместную. Было бы место для всех, но к нам напросился еще некто Щербак (он был знаком с семейством Гоголя); он жил около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднер еще сохранял тогда для нас авторитет: его присутствие нас очень стесняло. К тому же с ним было несчастье: каждый раз, когда он пускался в дорогу, с ним случалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно. Он ехал к нам обоим, но обоим не хотелось его брать. Когда условились с ним ехать, то он пошел с нами на черный двор, где была коляска, и хотел непременно доказать, что можно ехать впятером. Наружность его была забавная, ноги циркулем. Наконец все было готово к отъезду. Накануне жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла нам на дорогу пирожков, и на другой день, чем свет, мы должны были тронуться в путь.

Но мы составили заговор – уехать раньше. На другой день утром приехавший за нами человек Гоголя, Федор, разбудил нас в музее (так назывались отделения, на которые разделялись воспитанники; их было три: старшее, среднее и младшее). Зельднер потом нас искал и ни за что не хотел поверить, что мы уехали. «А, мерзкая мальчишка!» – говорил он.

Дорога была продолжительная. Мы ехали на своих, и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его; ему доставался и «гусар» (гусар – это была бумажка, свернутая в трубочку). Когда кучер запрягал лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая.

Александр Петрович Стороженко:

Кто-то дернул меня за фалдочку, оглянувшись, я увидел Гоголя.

– Пойдем в сад, – шепнул он и довольно скоро пошел в диванную; я последовал за ним, и, пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу.

Перед нами открылась восхитительная картина: по крутому склону расстилался сад; сквозь купы столетних дубов, клена виднелась глубокая долина с левадами и белыми хатами поселян-казаков, живописно раскинутыми по берегу извилистой реки; в светлых ее водах отражалась гора, вершина которой покрывалась вековым лесом. Было не более трех часов пополудни. Июльское солнце высоко стояло над горизонтом. Трава и верхи деревьев, проникнутые палящими лучами, отливались изумрудом; но там, где ложилась тень, она казалась мрачною, а из глубины леса глядела ночь. По прямому направлению лес от дома был не более полверсты, так что до нашего слуха долетали пронзительный свист иволги, воркованье горлиц и заунывное кукованье кукушки.

– Очаровательная панорама! – сказал Гоголь, любуясь местоположением. – А лес так и манит к себе: как там должно быть прохладно, привольно – не правда ли? – продолжал он, с одушевлением глядя на меня. – Знаете ли, что сделаем: мы теперь свободны часа на три; пойдемте в лес?

– Пожалуй, – отвечал я, – но как мы переберемся через реку?

– Вероятно, там отыщем челнок, а может быть, и мост есть.

Мы спустились с горы прямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном переулке, вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

– Направо или налево? – спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в ту, то в другую сторону переулка.

– Далеко придется обходить, – отвечал он.

– Что ж делать?

– Отправимся прямо.

– Через леваду?

– Да.

– Пожалуй.

На основании принятой от поляков пословицы: «шляхтич на своем огороде равен воеводе», в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие владельца; но я был очень сговорчив и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на нас, куры с криком и кудахтаньем разбежались, и мы не успели сделать двадцати шагов, как увидели высокую дебелую молодицу, с грудным ребенком на руках, который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей.

– Эй, вы, школяры! – закричала она. – Зачем? Что тут забыли? Убирайтесь, пока не досталось по шеям!

– Вот злючка! – сказал Гоголь и смело продолжал итти; я не отставал от него.

– Что ж, не слышите? – продолжала молодица, озлобляясь. – Оглохли? Вон, говорю, курохваты, а не то позову *чоловика* (мужа), так он вам ноги поперебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили!

– Постой, – пробормотал Гоголь, – я тебя еще не так рассержу!

– Что вам нужно?.. Зачем пришли, ироды? – грозно спросила молодица, остановясь в нескольких от нас шагах.

– Нам сказали, – отвечал спокойно Гоголь, – что здесь живет молодица, у которой *дитина* похожа на поросенка.

– Что такое? – воскликнула молодица, с недоумением посматривая то на нас, то на свое детище.

– Да вот оно! – вскричал Гоголь, указывая на ребенка. – Какое сходство, настоящий поросенок!

– Удивительное, чистейший поросенок! – подхватил я, захохотав во все горло.

– Как! моя *дитина* похожа на поросенка! – заревела молодица, бледнея от злости. – Шибеники[11], чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам!.. Остапе, Остапе! – закричала она, как будто ее резали. – Скорей, Остапе!.. – и кинулась навстречу мужу, который не спеша подходил к нам с заступом в руках.

– Бей их заступом! – вопила молодица, указывая на нас. – Бей, говорю, шибеников! Знаешь ли, что они говорят?..

– Чего ты так раскудахталась? – спросил мужик, остановясь. – Я думал, что с тебя кожу сдирают.

– Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры, ироды, выгадывают, – задыхаясь от злобы, говорила молодица, – рассказывают, что наша *дитина* похожа на поросенка!

– Что ж, может быть и правда, – отвечал мужик хладнокровно, – это тебе за то, что ты меня кабаном называешь.

Нет слов выразить бешенство молодицы. Она бранилась, плевалась, проклинала мужа, нас и с ругательствами, угрозами отправилась в хату. Не ожидая такой благополучной развязки, мы очень обрадовались, а Остап, понурившись, стоял, опершись на заступ.

– Что вам нужно, *панычи*? – спросил он, когда брань его жены затихла.

– Мы пробираемся на ту сторону, – сказал Гоголь, указывая на лес.

– Ступайте ж по этой дорожке; через хату вам было бы ближе, да теперь там не безопасно; жена моя не охотница до шуток и может вас поколотить.

Едва мы сделали несколько шагов, Остап остановил нас.

– Послушайте, панычи, если вы увидите мою жену, не трогайте ее, не дразните, теперь и без того мне будет с нею возни на целую неделю.

– Если мы ее увидим, – сказал Гоголь, улыбаясь, – то помиримся.

– Не докажете этого, нет; вы не знаете моей жинки: станете мириться – еще хуже разбесите!

Мы пошли по указанной дорожке.

– Сколько юмору, ума, такта! – сказал с одушевлением Гоголь. – Другой бы затеял драку, и бог знает, чем бы вся эта история кончилась, а он поступил как самый тонкий дипломат: все обратил в шутку – настоящий Безбородко!

Выйдя из левады, мы повернули налево и, подходя к хате Остапа, увидели жену его, стоявшую возле дверей. Ребенка держала она на левой руке, а правая вооружена была толстой палкой. Лицо ее было бледно, а из-под нахмуренных бровей злобно сверкали черные глаза. Гоголь повернулся к ней.

– Не трогайте ее, – сказал я, – она еще вытянет вас палкой.

– Не бойтесь, все кончится благополучно.

– Не подходи! – закричала молодица, замахиваясь палкой. – Ей-богу, ударю!

– Бессовестная, Бога ты не боишься, – говорил Гоголь,

подходя к ней и не обращая внимания на угрозы. – Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твоя *дитина* похожа на поросенка?

– Зачем же ты это говорил?

– Дура! шуток не понимаешь, а еще хотела, чтоб Остап заступом проломал нам головы; ведь ты знаешь, кто это такой? – шепнул Гоголь, показывая на меня. – Это из суда чиновник, приехал взыскивать недоимку.

– Зачем же вы, как *злодии* (воры), лазите по плетням да собак дразните!

– Ну, полно же, не к лицу такой красивой молодице сердиться. Славный у тебя *хлопчик*, знатный из него выйдет писарчук: когда вырастет, громада выберет его в головы.

Гоголь погладил по голове ребенка, и я подошел и также поласкал дитя.

– Не выберут, – отвечала молодица смягчаясь, – мы бедны, а в головы выбирают только богатых.

– Ну так в москали возьмут.

– Боже сохрани!

– Эка важность! в унтера произведут, придет до тебя в отпуск в крестах, таким молодцом, что все село будет снимать перед ним шапки, а как пойдет по улице, да брязнет шпорами, сабелькой, так дивчата будут глядеть на него да облизываться. «Чей это, – спросят, – служивый?» Как тебя зовут?..

– Мартой.

– Мартин, скажут, да и молодец же какой, точно намалеванный! А потом не придет уже, а приедет к тебе тройкой в кибитке, офицером и всякого богатства с собой навезет и гостинцев.

– Что это вы выгадываете – можно ли?

– А почему ж нет? Мало ли теперь из унтеров выслуживаются в офицеры!

– Да, конечно; вот Оксанин пятый год уже офицером и Петров также, чуть ли городничим не поставили его к Лохвицу.

– Вот и твоего также поставят городничим в Ромен. Тогда-то заживешь! в каком будешь почете, уважении, оденут тебя, как пани.

– Полно вам выгадывать неподобное! – вскричала молодица, радостно захохотав. – Можно ли человеку дожить до такого счастья?

Тут Гоголь с необыкновенной увлекательностью начал описывать привольное ее житье в Ромнах: как квартальные будут перед нею расталкивать народ, когда она войдет в церковь, как купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном

подносе, низко кланяясь и величая сударыней матушкой; как во время ярмарки она будет ходить по лавкам и брать на выбор, как из собственного сундука, разные товары бесплатно; как сын ее женится на богатой панночке и тому подобное. Молодица слушала Гоголя с напряженным вниманием, ловила каждое его слово. Глаза ее сияли радостно; щеки покрылись ярким румянцем.

– Бедный мой Аверко, – восклицала она, нежно прижимая дитя к груди, – смеются над нами, смеются! –

Но Аверко не льнул к груди матери, а пристально смотрел на Гоголя, как будто понимал и также интересовался его рассказом, и когда он кончил, то Аверко, как бы в награду, подал ему свой недоеденный пирог, сказав отрывисто: «На!»

– Видишь ли, какой разумный и добрый, – сказал Гоголь, – вот что значит казак: еще на руках, а уже разумнее своей матери; а ты еще умничаешь, да хочешь верховодить над мужем, и сердилась на него за то, что он нам костей не переломал.

– Простите, паночку, – отвечала молодица, низко кланяясь, – я не знала, что вы такие добрые панычи. Сказано: у бабы волос долгий, а ум короткий. Конечно, жена всегда глупее чоловика и должна слушать и повиноваться ему – так и в Святом Писании написано.

Остап показался из-за угла хаты и прервал речь Марты.

– Третий год женат, – сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, – и впервые пришлось услышать от жены разумное слово. Нет, панычу, воля ваша, а вы что-то не простое, я шел сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусила, аж смотрю, вы ее в *ягничку* (овечку) обернули.

– Послушай, Остапе, – ласково отозвалась Марта, – послушай, что паныч рассказывает!

Но Остап, не слушая жены, с удивлением продолжал смотреть на Гоголя.

– Не простое, ей-ей не простое, – бормотал он, – просто *чаровник* (чародей)! Смотри, какая добрая и разумная стала, и Святое Писание знает, как будто грамотная.

Я также разделял мнение Остапа; искусство, с которым Гоголь укротил взбешенную женщину, казалось мне невероятным; в его юные лета еще невозможно было проникать в сердце человеческое до того, чтоб играть им как мячиком; но Гоголь, бессознательно, силою своего гения, постигал уж тайные изгибы сердца.

– Расскажите же, паночку, – просила Марта Гоголя умоляющим голосом. – Остапе, послушай!

– После расскажу, – отвечал Гоголь, – а теперь научите,

как нам переправиться через реку.

– Я попрошу у Кондрата челнок, – сказала Марта и, передав дитя на руки мужа, побежала в соседнюю хату.

Мы не успели дойти до места, где была лодка, как Марта догнала нас с веслом в руке.

– Удивляюсь вам, – сказал я Гоголю, – когда вы успели так хорошо изучить характер поселян.

– Ах! если б в самом деле это было так, – отвечал он с одушевлением, – тогда всю жизнь свою я посвятил бы любезной моей родине, описывая ее природу, юмор ее жителей, с их обычаями, поверьями, изустными преданиями и легендами. Согласитесь: источник обильный, неисчерпаемый, рудник богатый и еще непочатый.

Лицо Гоголя горело ярким румянцем; взгляд сверкал вдохновенно; веселая, насмешливая улыбка исчезла, и физиономия его приняла выражение серьезное, степенное.

Достигнув противоположного берега, мы вытащили челнок на берег и начали подыматься на крутую гору. Палящий жар был невыносим, но по мере приближения к лесу нас освежал прохладный ароматический ветерок; а когда мы достигли опушки, нас обдало даже ощутительным холодом.

В нескольких от нас шагах прорезывалась в лес дорожка, и где она пролегала, виднелся темный, как ночь, фон, окаймленный ветвями.

– Что б вы изобразили на этом фоне? – спросил Гоголь.

– Нимфу, – отвечал я, недолго думая.

– А я бы лешего или запорожского казака в красном жупане.

Сказав это, он повалился на мягкую траву, а я, вынув из кармана носовой платок, разостлал его, чтоб не позеленить травою моих панталон. Гоголь громко захохотал, заметив мою предосторожность.

– Чего вы смеетесь? – спросил я.

– Знаете ли, когда вы вошли в гостиную, ваши плюндры произвели на меня странное впечатление.

– А какое именно?

– Мне показалось, что вы были без них!

– Не может быть! – вскричал я, осматривая свои панталоны.

– Серьезно: телесного цвета, в обтяжку… Уверен, что не одного меня поразили они, а и барышень также.

– Какой вздор!

– Да; когда вы вошли, они потупились и покраснели.

Последнее замечание окончательно меня смутило. Еще раз я взглянул на панталоны и не сомневался более в справедливости слов Гоголя. Я был в отчаянии, а он заливался громким смехом.

Натешившись моей простотой, он наконец сжалился надо мною.

– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал он, принимая серьезный вид, – я шутил, право, шутил.

Но уверения Гоголя не поколебали собственного моего убеждения, и замечание его, сказанное, может быть, и в шутку, преследовало меня, как нечистая совесть, до самого отъезда.

– Ударьте лихом об землю, – продолжал он, ложась на спину, – раскиньтесь вот так, как я, поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет.

Я последовал его совету; и действительно, едва протянулся и взглянул на небо – раздражение мое притупилось и мне захотелось спать.

– Ну что? – спросил Гоголь после минутного молчания, – что вы теперь чувствуете?

– Кажется, лучше, – отвечал я, закрывая глаза.

– В этом положении фантазия как-то сильнее разыгрывается, в уме зарождаются мысли высокие, идеи светлые – не правда ли?

– Да, сильно клонит ко сну, – пробормотал я, погружаясь в дремоту.

– Не прогневайтесь, я вам не дам спать; чего доброго, оба заснем и проспим до вечера, а между тем возьмут лодку: что мы тогда будем делать? <…>

– Долго ли вам еще оставаться в лицее? – спросил я.

– Еще год! – со вздохом отвечал Гоголь. – Еще год!

– А потом?

– Потом в Петербург, в Петербург! Туда стремится душа моя!..

– Что вы, в гражданскую или военную думаете вступить?

– Что вам сказать? В гражданскую у меня нет охоты, а в военную – храбрости.

– Куда-нибудь да надо же; нельзя не служить.

– Конечно, но…

– Что?

Гоголь молчал. Через несколько минут я сделал ему вопрос, ответа не было: он заснул. Мне жаль было его будить, и я, следуя данному совету, устремив взор в голубое небо, задумался. <…>

Тень от деревьев протянулась; зной спадал; было около шести часов. Я разбудил Гоголя.

– Славно разделался с храповицким, – сказал он, приподымаясь и протирая глаза. – А вы что делали? тоже спали?

– Нет, – отвечал я, – по вашему совету я лежал на спине и фантазировал.

– Ну что ж? понравилось?

– Очень!..

– Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле.

Переправясь обратно через реку, мы пошли к известной хате, чтобы по той же дороге возвратиться к Ивану Федоровичу. На завалине сидел Остап понурясь.

– За что вы меня так обидели, – спросил он Гоголя очень серьезно, – что я вам сделал?

– Чем же я тебя обидел? – сказал Гоголь с недоумением, посматривая на Остапа.

– Чем! *жинку* мою нарядили как пани, подчиваете варенухой на серебряном подносе, величаете сударыней матушкой, а мне – батьку городничего, хотя бы спасибо сказали, чарку горелки поднесли!

Остап разразился громким смехом. Марта вышла из хаты без Аверки и, усмехаясь, низко поклонилась.

– О неблагодарный! – трагически произнес Гоголь, указывая на Марту. – Не я ли обратил волчицу в ягницу?!

– Правда, правда, за это спасибо, ей-богу спасибо!.. готов хату прозакладывать, что сегодня во всем селе нет молодицы разумнее моей *жинки*. А где ж *городничий*? – прибавил Остап, взглянув на жену.

– Уклался спать, – отвечала Марта, засмеявшись.

– Вот какую штуку вы нам выкинули! – продолжал Остап. – Не знаем, что будет с нашего Аверки, а уж городничим наверное останется до смерти.

– А кто знает! может быть… – начала было Марта, но Остап закрыл ей рукою рот.

– Молчи, дура! – сказал он. – Паныч шутит, а ты, глупая баба, уж и зазналась! Молись Богу, чтоб был честным человеком – для нас и того довольно.

Остап пустился в рассуждения, острил над женой и рассказывал смешные анекдоты, как жены обманывают своих мужей. Гоголь, со вниманием слушавший Остапа, хохотал, бил в ладони, топал ногами; иногда вынимал из кармана карандаш и бумагу и записывал некоторые слова и поговорки. Я не раз напоминал ему, что пора итти, но Гоголь не мог оторваться от Остапа.

– Помилуйте, – говорил он, – да это живая книга, клад; я готов его слушать трои сутки сряду, не спать, не есть!

Наконец я почти насильно увлек его. Мы пошли по прежней дороге, через леваду, и добродушные хозяева провожали нас до самого перелаза. Марта принялась было просить у нас опять прощения, но Остап ее остановил.

– Перестань, – сказал он, – они тебя дразнили как *цуцика*, им

того и хотелось, чтобы ты лаяла на них как собака.

Подымаясь на гору <…>, Гоголь не переставал хвалить Остапа.

– Какая натура! – говорил он. – Какой рассказ! точно вынет человека из-под полы, поставит его перед вами и заставит говорить. Кажется, я не слышал, а видел наяву то, о чем он рассказывал.

Павел Васильевич Анненков:

Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца.

Григорий Петрович Данилевский:

Приятелям-сверстникам Гоголь щедро раздавал шутливые советы и прозвища <…>: Барончик, Доримончик, Фон-Фонтик, Купидончик, Хопцики и пр.

Тимофей Григорьевич Пащенко:

Приехали в Петербург и другие товарищи Гоголя, и собралось их там более десяти человек: Гоголь, Прокопович, <А. С.> Данилевский, <И. Г.> Пащенко, Кукольник, Базили, Гребенка, Мокрицкий и еще некоторые. Определились по разным министерствам и начали служить. Мокрицкий хорошо рисовал и заявил себя замечательным художником по живописи. Товарищи часто сходились у кого-нибудь из своих, составляли тесный, приятельский кружок и приятно проводили время. Гоголь был душою кружка. Гоголь и Кукольник сильно интересовались литературой. После знакомства с Пушкиным Гоголь всецело предался литературе. Вот приходит однажды в этот кружок товарищей Мокрицкий и приносит с собою что-то завязанное в узелке. «А что это у тебя, брате Аполлоне?» – спрашивает Гоголь. Мокрицкий был заика и с трудом отвечает: «Это… это, Николай Васильевич, не по твоей части; это – священне…» – «Как, что такое, покажи!» – «Пожалуйста, не трогай, Николай Васильевич, – говорю тебе нельзя – это священне». (В узелке были костюмчики детей князя N.; костюмчики нужны были Мокрицкому для картины, и он добыл их не без труда.) Гоголь схватил узелок, развязал, увидел, что там такое, плюнул в него

и швырнул в окно на улицу. Мокрицкий вскрикнул от ужаса, бросился к окну и хотел выскочить, но было высоко; бросается в дверь, бежит на улицу и схватывает свой узелок… Хохотали все до упаду.

Владимир Александрович Соллогуб:

Он изредка посещал мою тетку и однажды сделал ей такой странный визит, что нельзя о нем не упомянуть. Тетушка сидела у себя с детьми в глубоком трауре, с плерезами[12], по случаю недавней кончины ее матери. Докладывают про Гоголя. «Просите». Входит Гоголь с постной физиономией. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, разговор начался о бренности всего мирского. Должно быть, это надоело Гоголю: тогда он был еще весел и в полном порыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и преплачевную историю про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный обожаемый сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью по целым неделям, наконец утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас разбудили, если больному сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит. «Пожалуйте!» – «Что, неужели хуже?» – «Какой хуже! Скончался совсем!» При этой развязке все лица слушавших со вниманием рассказ вытянулись, раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, Боже мой! Ну что же бедный отец?» – «Да что ж ему делать, – продолжал хладнокровно Гоголь, – растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю». Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка, с полным на то правом, рассердилась на эту шутку, действительно, в минуту общей печали, весьма неуместную.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Гоголь был тогда еще немножко гастроном; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были

готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что верно повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда притти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.». В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и наконец рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Вера Александровна Нащокина:

Когда Гоголь бывал в ударе, а это случалось часто до отъезда

его за границу, он нас много смешил. К каждому слову, к каждой фразе у него находилось множество комических вариаций, от которых можно было помереть со смеху. Особенно любил он перевирать, конечно в шутку, газетные объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего юмор его производил еще более неотразимое впечатление.

Александр Иванович Урусов, *князь (1843–1900), адвокат, историк театра:*

Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротическою чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Раблэ. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною аристофановскою солью.

Дмитрий Александрович Оболенский:

В первых числах июля месяца 1849 года, проездом через Калугу в имение отца моего, я застал Гоголя, гостившего у А. О. Смирновой, и обещал ему на обратном пути заехать за ним, чтобы вместе отправиться в Москву. Пробыв в деревне недолго, я в условленный день прибыл в Калугу и провел с Гоголем весь вечер у А. О. Смирновой, а после полуночи мы решили выехать. <…>

К утру мы остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, – это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня:

– А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?

– Право не знаю, – отвечал я.

– А вот я вам расскажу. – И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно. За сим он рассказал мне, что как-то одно время они жили вместе с Н. М. Языковым (поэтом) и вечером, ложась спать, забавлялись описанием разных характеров и за сим

придумывали для каждого характера соответственную фамилию. «Это выходило очень смешно», – заметил Гоголь и при этом описал мне один характер, которому совершенно неожиданно дал такую фамилию, которую печатно назвать неприлично. – «И был он родом из грек!» – так кончил Гоголь свой рассказ.

Владимир Александрович Соллогуб:

Гоголь имел дар рассказывать самые соленые анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, причем он всегда грешил преднамеренно… <…>

Однажды я присутствовал при одном рассказе, переданном Гоголем теще моей, графине Л. К. Виельгорской. <…> Он был грустен, тупо глядел на все окружающее его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость, и тонкие губы как-то угрюмо сжались. Графиня Виельгорская старалась, как могла, развеселить Николая Васильевича, но не успевала в этом; вдруг бледное лицо его оживилось, на губах опять заиграла так всем нам известная лукавая улыбочка, и в потухающих глазах засветился прежний огонек.

– Да, графиня, – начал он своим резким голосом, – вы вот говорите про правила, про убеждения, про совесть (графиня Виельгорская в эту минуту говорила совершенно об ином, но, разумеется, никто из нас не стал его оспаривать), – а я вам доложу, что в России вы везде встретите правила, разумеется, сохраняя размеры. Несколько лет тому назад, – продолжал Гоголь, и лицо его как-то все сморщилось от худо скрываемого удовольствия, – я засиделся вечером у приятеля. Так как в тот вечер я был не совсем здоров, хозяин взялся проводить меня домой. Пошли мы тихо по улице разговаривая. На востоке уж начинала белеть заря, – дело было в начале августа. Вдруг приятель мой остановился и стал упорно глядеть на довольно большой, но неказистый и грязный дом. Место это, хотя человек он был женатый, видно, было ему знакомое, потому что он с удивлением пробормотал: «Да зачем же это ставни закрыты и темно так?.. Подождите меня, я хочу узнать…» Он прильнул к окну. Я тоже, заинтересованный, подошел. В довольно большой комнате перед налоем священник совершал службу, по-видимому, молебствие, дьячок подтягивал ему. Позади священника стояла толстая женщина, изредка грозно поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в завитых волосах, со щеками, рдеющими неприродным румянцем. Вдруг калитка с шумом распахнулась, и показалась толстая женщина, лицом очень похожая на первую. «А, Прасковья Степановна, здравствуйте! – вскричал мой

приятель. – Что это у вас происходит?» – «А вот, – забасила толстуха, – сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить». – Так вот, графиня, – прибавил уже от себя Гоголь, – что же говорить о правилах и обычаях у нас в России?

Можно себе представить, с каким взрывом хохота и вместе с тем с каким изумлением мы выслушали рассказ Гоголя: надо было уже действительно быть очень больным, чтобы в присутствии целого общества рассказать графине Виельгорской подобный анекдотец.

Александр Николаевич Афанасьев *(1826–1871), фольклорист:*

Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканы, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностью, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Припоминая различные мелочи из характера Гоголя, я припомнил пустое обстоятельство, но доказывающее, что Гоголя занимало иногда подшучивание над детьми. Вскоре после его переезда к отцу он обещал мне с сестрою привезти игрушек. Нынче да завтра, так долго томил меня Гоголь. Наконец, как-то раз вернувшись из города (а городом мы, обитатели Девичьего Поля, называли Москву), лакей пронес перед Гоголем какой-то ящик, завязанный в бумагу, и Гоголь крикнул мне на ходу: «Митя, ступай живей наверх, я тебе игрушку привез, живей!» Я стремглав бросился по лестнице за ними. Начали развязывать покупку, и – о ужас! – оказалось, что Гоголь купил себе очень элегантную ночную принадлежность из красного дерева. Вот тебе и игрушка! Со слезами на глазах я начал бранить Гоголя и без всякой церемонии называть его обманщиком и грозился об его обмане рассказать всем, всем; а Гоголь, схватившись за бока, истерически хохотал; но в конце концов утешил меня, обещаясь назавтра же непременно привезти замысловатую игрушку; но исполнил ли он свое обещание, теперь уже не припомню: так сильно подействовала на меня первая обида разочарования.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

В этот год (1841. – Сост.) последовала сильная перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его

нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание видеть его. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился.

Александра Осиповна Смирнова:

Будучи в Риме, уже в 1843 году, Гоголь опять, как в 1837 г. в Париже, начал что-то рассказывать об Испании. Я заметила, что Гоголь мастер очень серьезно солгать. На это он сказал: «Так если ж вы хотите знать правду, я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете». Тут он начал описывать во всех подробностях Константинополь: называл улицы, рисовал местности, рассказывал о собаках, упоминая даже, какого они цвета, и о том, как там подают кофе в маленьких чашках с гущею… Речь его была наполнена множеством мелочей, которые мог знать только очевидец, и заняла всех слушателей на целые полчаса или около того. «Вот сейчас и видно, – сказала я ему тогда, – что вы были в Константинополе». А он ответил: «Видите, как легко вас обмануть. Вот же я не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был».

Здоровье

Александр Семенович Данилевский:

Он был болезненный ребенок. Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя и признавали за ним золотушный недуг.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Брат мой был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорившему и спрашивал: «А?»

Михаил Александрович Максимович:

У него было очень тонкое обоняние. Иногда, въезжая в лес, он говорил: «Тут сосна должна быть: так и пахнет сосной»; и действительно, путешественники открывали между берез и дубов сосновые деревья.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 20 июля 1832 г., из Васильевки:*

Что-то значит хилое здоровье! Приехавши в Полтаву (17 июля), я тотчас объездил докторов и удостоверился, что ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, как этот. <…> Теперешнее состояние моего здоровья совершенно таково <…>. Понос только прекратился, бывает даже запор; иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине, иногда болит голова, немного грудь.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою, и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку.

Со слов **Александра Семеновича Данилевского:**

В Париже Гоголь уже нередко удручал Данилевского своею убийственною мнительностью: вдруг вообразит, что у него какая-нибудь тяжелая болезнь (всего чаще он боялся за желудок), и носится с своим горем до того, что тяжело и грустно на него смотреть, а разубедить его в основательности ужасных призраков не было никакой возможности. Вот в связи с этими-то недугами и находились усиленные заботы об обедах в ресторанах. Отправлениям желудка приходилось придавать чрезвычайно важное значение, и потому обед получил у Гоголя название жертвоприношения, а содержатели ресторанов величались жрецами. По словам Данилевского, Гоголь лечился от желудочной болезни у доктора Маржолена и строго следовал его наставлениям, хотя это было для него большим лишением, потому что он любил покушать и очень любил сладкое.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину, август 1838 г., из Неаполя:*

Недуг, для которого я уехал и который было, казалось, облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок. Это несносная болезнь. Она меня сушит. Она говорит мне о себе каждую минуту и мешает мне заниматься.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 31 декабря 1838 г., из Рима:*

Ты спрашиваешь о моем здоровье… Плохо, брат, плохо; все хуже, чем дальше, все хуже. Таков закон природы. Болезненное мое расположение решительно мешает мне заниматься. Я ничего не делаю и часто не знаю, что делать с временем. <…> В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему, то рисуя какую-нибудь соблазнительную картину неудобосварительного обеда, то…

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 17 октября 1840 г., из Рима:*

Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок от разных неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно: я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное – я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление… Я почувствовал, что

в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей <…>.

<…> Но мне хотелось кончить курс, и я думал: «Когда теперь уже я нахожусь в таком светлом состоянии, по окончании курса еще более настроенно будет во мне все». Это же было еще летом в жар, и нервическое мое пробуждение обратилось вдруг в раздражение нервическое. Все мне бросилось разом на грудь. Я испугался. Я сам не понимал своего положения. Я бросил занятия, думал, что это от недостатка движения при водах и сидячей жизни. Пустился ходить и двигаться до усталости, и сделал еще хуже. Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось. По счастию, доктора нашли, что у меня еще нет чахотки, что это желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв. От этого мне было не легче, потому что лечение мое было довольно опасно, то, что могло бы помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Виельгорского в последние минуты жизни. Вообрази, что с каждым днем после этого мне становилось хуже, хуже. Наконец уже доктор сам ничего не мог предречь мне утешительного. При мне был один (Н. П.) Боткин, очень добрый малый, которому я всегда останусь за это благодарен, который меня утешал сколько-нибудь, но который сам мне потом сказал, что он никак не думал, чтоб я мог выздороветь. Я понимал свое положение и наскоро, собравшись с силами, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хоть долги мои были выплачены немедленно после моей смерти. Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. <…> Я в Риме почувствовал себя лучше в первые дни.

По крайней мере я уже мог сделать даже небольшую прогулку, хотя после этого уставал так, как будто б я сделал десять верст. Я до сих пор не могу понять, как я остался жив, и здоровье мое в таком сомнительном положении, в каком я еще никогда не бывал. Чем далее, как будто опять становится хуже, и лечение и медикаменты только растравляют. Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто ожил. Так вот все мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную. Двух минут я не мог посидеть в комнате, мне так сделалось тяжело, и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя.

Павел Васильевич Анненков:

(В Риме, в 1841 г. – Сост.) Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво. «Вы этого не можете понять, – говорил он, – это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы – никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», говорил он.

Николай Михайлович Языков *(1803–1846), поэт. Из письма брату, сентябрь 1841 г., из Ганау:*

Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами.

Федор Васильевич Чижов:

Заговорили мы с ним об его болезни.

– У меня все расстроено внутри, – сказал он. – Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Балабиной 17 февраля 1842 г., из Москвы:*

Я был болен, очень болен, и еще болен доныне внутренно: болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда еще со мной не было. Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волненье, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма гр. А. П. Толстому 28 марта 1845 г., из Франкфурта:*

Здоровье мое, кажется, лучше, хотя я и не смею еще предаваться надежде совершенно поправиться. Не скрою, что признаки болезни моей меня сильно устрашили: сверх исхудания необыкновенного – боли во всем теле. Тело мое дошло до страшных охладеваний; ни днем, ни ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед, так что прикосновение их ко мне меня пугало самого. Я, однако ж, крепился духом и даже скрыл все состояние болезни от Жуковского, заметивши, что он начал обо мне беспокоиться и за меня побаиваться. Теперь с оттепелью как будто бы оттаял и я.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Смирновой 11 мая 1845 г., из Франкфурта:*

Мне повелено медициной до Гастейна пить воды в Гомбурге для удаления геморроидальных, печеночных и всяких засорений, на которые, по приговору медиков, следует предварительно подействовать Гомбургом, после чего Гастейн, действующий благодетельно на всякие нервические расслабления, может оказать мне значительную пользу. В Гомбурге я должен пробыть не более трех недель.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. М. Языкову 5 июня 1845 г., из Гомбурга близ Франкфурта:*

Болезни моей ход естественный. Она есть истощение сил. Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой был также сложенья слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападеньем какой-нибудь болезни. Я худею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии. <…> Ни искусство докторов, ни какая бы то ни было помощь, даже со стороны климата и прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помощи.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. М. Языкову 25 июля 1845 г. Дополнено по письму В. А. Жуковскому от 14 июля 1845 г. (в редакции В. В. Вересаева):*

Для душевного моего спокойствия оказалось мне нужным отговеться в Веймаре. Гр. Толстой также говел вместе со мною. Тамошний очень добрый священник наш советовал мне непременно, едучи в Берлин, заехать по дороге в Галь, к тамошней знаменитости, д-ру Круккенбергу, о котором он рассказывал чудеса. Круккенберг, осмотревши и ощупавши меня всего, – спинной хребет, грудь и все высохнувшее мое тело, и нашед все в надлежащем виде, решил, что причина всех болезненных припадков заключена в сильнейшем нервическом расстройстве, покрывшем все прочие припадки и произведшем все недуги. <…> Я решился отправиться еще к одной знаменитости, к Карусу в Дрезден. Карус осмотрел меня вновь всего, от головы до ног, ощупал и перестучал все мои кости и перещупал живот и нашел, что главная причина всего заключается в печени, что печень необыкновенно выросла, оставив весьма мало места для легких, что оттуда и нервическое расстройство, и расслабление, и прекратившееся вырабатывание крови, что прежде всего следует излечить печень.

Николай Васильевич Гоголь. *Из писем С. Т. Аксакову и гр. А. П. Толстому. Сводный текст (в редакции В. В. Вересаева):*

После Греффенберга я съездил в Берлин, нарочно с тем, чтобы повидаться с Шенлейном, с которым прежде не удалось посоветоваться и который особенно талантлив в определении болезней. Шенлейн утвердил меня еще более в сем мнении. Над Карусом, его печенью и Карлсбадом посмеялся. По его мнению, сильней всего у меня поражены были нервы в желудочной области, так называемой системе nervoso

fasciculoso, одобрил поездку в Рим, предписал вытирание мокрою простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю, две, какие-то гомеопатические капли по утрам, а с началом лета и даже весною – ехать непременно на море, преимущественно северное, и пробыть там, купаясь и двигаясь на морском воздухе, сколько возможно более времени, – ни в коем случае не менее трех месяцев. В пище есть побольше мясного и зелени и поменьше мучнистого и молочного. Когда я изъявил ему опасение насчет кофею, сказал, что это вздор, что кофей для меня даже здоров и лучше, нежели одно молоко… Я всегда был уверен, что кофей мне не вреден, и это узнал из опыта. Как нарочно, именно в то время, когда я пил кофей покрепче, у меня нервы были хороши.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Смирновой 11 февраля 1850 г., из Москвы:*

Болен, изнемогаю духом, требую молитв и утешения и не нахожу нигде <…>. С болезнью моей соединилось такое нервическое волнение, что ни минуту не посидит мысль моя на одном месте и мечется, бедная, беспокойней самого больного.

Николай Васильевич Берг:

В 1851 году мне случилось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в двадцати от Москвы, по рязанской дороге. <…>

К завтраку и к обеду Гоголь являлся не всегда, а если и являлся, то сидел почти не дотрагиваясь ни до одного блюда и глотая по временам какие-то пилюльки. Он страдал тогда расстройством желудка: был постоянно скучен и вял в движениях, но нисколько не худ на лицо. Говорил не много и тоже как-то вяло и неохотно. Улыбка редко мелькала на его устах. Взор потерял прежний огонь и быстроту. Словом, это были уже развалины Гоголя, а не Гоголь.

«Малоросс»

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

По-малороссийски Гоголь говорил хорошо, песни «простые» очень любил, но сам пел плохо.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Говорят, где-то кто-то слышал, как он малороссийские песни пел, а я не слышала, как он пел. Он любил слушать, как поют или играют. Меня часто просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. «А ну-ка, – говорит, – сыграй мне чоботы». Стану играть, а он слушает и ногой притопывает. Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели.

Варвара Николаевна Репнина:

У моего брата жили молодые люди малороссияне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепиано, и они под руководством Гоголя пели украинские песни.

Григорий Петрович Данилевский:

Все подошли к роялю. Н<ад.> С<ерг.> Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты, с голоса самого Гоголя.

– Что спеть? – спросила она.

– «Чоботы», – ответил Гоголь.

Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.

Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусскою, польскою и чешскою. <… >

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движениями, вывертом плеча

и головы, должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое «заливисто-фистульное» пение.

Михаил Александрович Щепкин, *внук М. С. Щепкина:*

Гоголь был очень расположен к Щепкину. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Михаила Семеновича. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, можно было слышать под конец: вареники, голубцы, паленицы, – и лица их сияли улыбками.

Григорий Петрович Данилевский:

«А Шевченко?» – спросил Бодянский. Гоголь на этот вопрос с секунду помолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова посмотрел осторожный аист. «Как вы его находите?» – повторил Бодянский. «Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь, друг мой, вы – его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления…» – «Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? – с неудовольствием возразил Бодянский, – это постороннее… Скажите о таланте, о его поэзии…» – «Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык…» Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно. «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех, родных нам, племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!» – «Да какой же это Жасмен? – крикнул Бодянский. – Разве их можно равнять. Что вы? Вы же сами – малоросс!» – «Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной, – нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами, рыночный памфлет. Поэзия – голос пророка… Ее стих должен врачевать наши сомнения, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения врагам. Это – труба пречистого архангела… Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его

погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющая одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам вечное человеческое слово…»

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Смирновой 24 декабря 1844 г., из Франкфурта:*

Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская <…>. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую.

Родные и близкие

Предки

Всеволод Андреевич Чаговец *(1877–1950), исследователь биографии Гоголя. По бумагам семейного архива:*

Из послужного списка Афанасия Демьяновича Гоголя видно, что он родился в 1738 г., а уже в 1757 г. вступил на службу, сперва в полковую миргородскую, а в следующем же году в войсковую канцелярию; за добросовестное исполнение своих обязанностей был представлен в войсковые хорунжие <…>. За долговременную беспорочную службу удостоился награждения чином бунчукового товарища в 1781 г., августа 7 дня. Там же против графы: «грамоте читать и писать умеет ли?» сказано: «грамоте читать и писать по-русски, по-латыни, польски, немецки и гречески умеет». Впоследствии он был назначен полковым писарем и переименован в секунд-майоры, в каком чине находился до конца дней своих.

Владимир Иванович Шенрок *(1853–1910), историк литературы, автор четырехтомных «Материалов для биографии Гоголя» (М., 1892–1898):*

Афанасий Демьянович (дед писателя) прошел через семинарию и завершил свое образование в Киевской духовной академии. Сохранились воспоминания, указывающие на то, что Афанасий Гоголь получил в академии настолько основательное для своего времени образование, что считался знатоком языков, особенно латинского и немецкого, которые преподавал детям своих деревенских соседей. О самой женитьбе его рассказывают анекдот, что он похитил из родительского дома любимую свою ученицу Татьяну Семеновну Лизогуб, дочь бунчукового товарища Семена Лизогуба, по матери из фамилии Танских. Он предварительно объяснился ей в любви, скрыв записку в скорлупе грецкого ореха, и, удостоверившись во взаимности, обвенчался с нею без ведома родителей.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Бабушка (жена Аф. Дем. Гоголя) была из богатого дома. У них был учитель, который учил ее братьев и ее. Рассказывали, как она собрала свои золотые и серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчалась; за это родители рассердились: ничего ей не дали, и где они жили и как, не расспрашивали. Потом братья ее подарили ей Васильевку, и тут она жила до смерти. За бабушку говорили, как она великолепно рисовала.

Всеволод Андреевич Чаговец. *По бумагам семейного архива:*

Татьяна Семеновна обладала замечательною способностью к живописи и рисовала небольшие картины из деревенской природы и жизни. В Яновщине долгое время хранились две картинки, написанные Татьяной Семеновной: фрукты и разрезанная дыня… Она страшно боялась лошадей; поэтому, когда ей приходилось куда-нибудь ехать, что, впрочем, случалось очень редко, то в карету запрягали пару волов и в таком виде ездили в город или к знакомым, нисколько не смущаясь тем любопытством, какое вызывала у всех такая оригинальная запряжка.

Отец Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

У дедушки и бабушки долго не было детей; на четырнадцатом году родился мой отец; единственное было дитя.

Анна Васильевна Гоголь:

Он был человек хороший, нравственный, правдивый, но особенно практическим не был.

Александр Семенович Данилевский:

Живо припоминается мне Василий Афанасьевич; он был красивее сына. На нем была тогда шляпа лощеная, матросская. Человек он был интересный, бесподобный рассказчик.

Григорий Петрович Данилевский:

Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы для домашней сцены в семействе Трощинских, которые оказывали особенное внимание ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собою от матери при отъезде в Петербург, для того чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, так как впоследствии никто их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, обладал даром рассказывать занимательно, о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом <…>. Его небольшое наследственное село Васильевка, или, – как оно называется исстари, – Яновщина, сделалось центром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких соседей.

В соседстве села Васильевки, в селе Кибинцах, недалеко от местечка Сорочинцы, поселился Дм. Прок. Трощинский, гений своего рода, который из бедного казачьего мальчика умел своими способностями и заслугами возвыситься до степени министра юстиции. Трощинский отдыхал в сельском уединении посреди близких своих домашних и земляков. Отец Гоголя был

с Трощинским в самых приятельских отношениях. Оригинальный ум и редкий дар слова, каким обладал сосед, были оценены вполне воспитанником высшего столичного круга. С своей стороны Вас. Аф. Гоголь не мог найти ни лучшего собеседника, как бывший министр, ни обширнейшего и более избранного круга слушателей, как тот, который собирался в доме Трощинского. В то время Котляревский только что выступил на сцену со своею «Наталкою-Полтавкою» и «Москалем-Чаривныком». Комедии из родной сферы, после переводов с французского и немецкого, понравились малороссиянам, и не один богатый помещик устраивал для них домашний театр. То же сделал и Трощинский. Собственная ли это его была затея, или отец Гоголя придумал для своего патрона новую забаву, не знаем, только старик Гоголь был дирижером такого театра и главным его актером. Этого мало: он ставил на сцену пьесы собственного сочинения, на малороссийском языке. К сожалению, все это считалось не более как шуткою, и никто не думал сберегать игравшиеся на кибинском театре комедии. Единственные следы этой литературной деятельности мы находим в эпиграфах к «Сорочинской ярмарке» и к «Майской ночи» (подписанных «Из малороссийской комедии»).

Мария Ивановна Гоголь *(урожд. Косяровская; 1791–1868), мать Гоголя:*

Муж мой иногда писал стихи, но ничего серьезного. К знакомым он писал иногда письма в стихах, более комического характера. Он имел природный ум, любил природу и поэзию.

Владимир Иванович Шенрок:

Скудные сведения, которые нам удалось собрать об отце Гоголя, сводятся, главным образом, к тому, что это был человек, выросший и проведший всю жизнь в скромной деревенской обстановке, преданный всей душой семье и родным и не чуждый мечтательного романтизма. По выходе в отставку до самой женитьбы он должен был помогать родителям в их хозяйственных заботах и большую часть времени употреблял на исполнение разных мелких поручений. Он играл в доме второстепенную роль паныча, которою совершенно удовлетворялся. Самым знаменательным событием в жизни Василия Афанасьевича была, конечно, его женитьба на Марии Ивановне Косяровской… С нею Василий Афанасьевич был знаком еще в детстве; как соседи, они часто видали друг друга; но когда красивая дочь помещика Косяровского, получившая впоследствии от тетки своей Трощинской за нежный цвет лица прозвание белянки, стала

подрастать, она произвела сильное впечатление на своего романтика-соседа.

Мария Ивановна Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 3 апреля 1856 г.:*

Когда Вас. Аф-вич Гоголь приезжал в каникулы домой, и в то время ездил со своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на богомолье, там есть чудовной образ Божьей Матери, они были там в обедне, отправляли молебен и остались там ночевать, и он видел во сне тот же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские врата отворились, и вышла царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других словах, которых он не помнил: «Ты будешь одержим многими болезнями (и точно, он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него два года; никакие средства не помогали, один д-р Трофимовский освободил его от нее), но то все пройдет, – царица небесная сказала ему, – ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». – Выговоря эти слова, подняла вверх руку, и он увидел у ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались в его памяти. Потом он приехал домой, рассеялся и забыл тот сон. Родители его, не имея тогда церкви, ездили в местечко Ярески при реке Пеле. Там он познакомился с теткой моей, и, когда вынесла кормилица дитя семи месяцев, он взглянул на него и остановился от удивления: ему представились те самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал следить за мной; когда я начала подрастать, то он забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, строил домики с карт, и тетка моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал заниматься с таким дитем по целым дням; я хорошо знала его и привыкла, часто видя, любить его; потом, спустя тринадцать лет, он видел тот же сон и в том же храме, но не царские врата отворились, а боковые алтаря, и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, красоты неописанной, и, показав рукой в левую сторону, сказала: «Вот твоя невеста!» Он оглянулся в ту сторону и увидел девочку в белом платьице, сидящую за работой перед маленьким столиком и имеющую те же черты лица. И после того скоро мы возвратились из Харькова, и муж мой просил родителей моих отдать меня за него.

Мария Ивановна Гоголь:

Тогда мне было всего тринадцать лет. Я чувствовала к нему что-то особенное, но оставалась спокойной. Жених мой часто

навещал нас (у тетки в местечке Яресках). Он иногда спрашивал меня, могу ли я терпеть его и не скучаю ли с ним. Я отвечала, что мне с ним приятно, и действительно, он был всегда очень любезен и внимателен ко мне с самого детства. Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома, скрываясь в садах. Когда я рассказывала об этом тетушке, она, улыбаясь, говорила: «Вот кстати ты вышла гулять! Он так любит природу и, пользуясь хорошей погодой, наслаждается музыкой. Но ты больше не ходи гулять так далеко от дому». Один раз, не найдя меня дома, он пошел в сад. Увидя его, я задрожала и вернулась домой. Когда мы остались одни, он спросил меня, люблю ли я его; я отвечала, что люблю, как всех людей. Удивляюсь, как я могла скрывать свои чувства на четырнадцатом году. Когда я ушла, он сказал тетке, что очень желал бы жениться на мне, но сомневается, могу ли я любить его. Она отвечала, что я люблю его, что я доброе дитя и могу быть хорошей женой, что она уверена, что я люблю его, потому что скучаю, когда долго его не вижу, а что я так отвечала потому, что боюсь мужчин, наслышавшись от нее, какие они бывают лукавые. Когда он уехал, тетка позвала меня и передала мне его предложение. Я сказала, что боюсь, что подруги будут смеяться надо мной; но она меня урезонила, и нас сговорили. Родители взяли меня к себе, чтобы приготовить кое-что, и я уже не так скучала, потому что жених мой часто приезжал, а когда не мог приехать, то писал письма, которые я, не распечатывая, отдавала отцу. Читая их, он, улыбаясь, говорил: «Видно, что начитался романов!» Письма были наполнены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Письма жениха я всегда носила с собой. Свадьба наша назначалась через год. <…>

Когда мне было четырнадцать лет, нас перевенчали в местечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого, что еще была слишком молода; потом гостила у родителей, где часто с ним видалась. Но в начале ноября он стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без меня. Так вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня привез в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они приняли меня как родную дочь. Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надевала на меня свои старинные вещи. Любовь ко мне мужа была неописанная; я была вполне счастлива. Он был старее меня на тринадцать лет. Я никуда не выезжала,

находя все счастье дома. <…>

Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у мужа был веселый. Мы окружены были добрыми соседями. Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастия, верила снам. Сначала меня беспокоила болезнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка. Потом он был здоров, но мнителен. У нас было двенадцать детей, из которых более половины мы потеряли. Из шести сыновей остался один старший… Потом мы лишились всех средних детей, и потом остались только меньшие три дочери. <…>

Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Кибинцы (поместье Д. П. Трощинского), чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать, и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: «может, долго там пробуду, но постараюсь поскорее вернуться». Я получала от него часто письма; он все беспокоился обо мне. Я не знала, что жизнь его была в опасности, и далека была от мысли потерять его…

После родов, на второй неделе, я только начала ходить по комнате и ожидала мужа, чтобы крестить дитя, как вместо мужа приехала жена доктора, акушерка, чтобы по просьбе мужа везти меня к нему. Я очень встревожилась и подумала, что, верно, ему очень худо, если он меня вызывает еще больную. Мы только выехали со двора, как увидели верхового, который подал письмо докторше; она, прочтя письмо, вспыхнула и сказала: «Вернемся! Василий Афанасьевич сам приедет». Когда привезли его тело к церкви, раздался удар колокола. Только на пятый день могли его хоронить, так как многое не было готово. Меня не пускали к нему, пока не внесли в церковь, а то он все был в экипаже. Мне после говорили, что я, увидя его, начала громко говорить к нему и отвечать за него. Тетка не оставляла меня до шести недель и детей мне не показывала. Старшие двое учились, сын – в Нежине.

Мать Мария Ивановна

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Мать моя воспитывалась у своей тетки Анны Матвеевны Трощинской, которая ее и замуж выдала, и выбрала ей сама жениха, когда матери минуло только четырнадцать. Она еще не успела испытать, что такое любовь, она была занята еще куклами, но, по приказанию или по совету тетки, должна была повиноваться, несмотря на то, что она была первая красавица, а отец, говорят, был некрасив.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. <…>

Марья Ивановна – женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней уродами; она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям: она отдала им свое сердце и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний; по крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изредка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена, и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет оттого грустить больше. <…> Как она смотрит на портрет сына, который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его. «Он улыбается, – говорит она, – но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». <…> Она увидала один раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть»… и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына.

Григорий Петрович Данилевский:

Кстати о матери Гоголя. Она – урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее, по приезде в Яновщину,

меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те же красиво очерченные, крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие, нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин, щеки говорили, как была в молодости красива эта, еще и в то время замечательно красивая женщина.

Александр Семенович Данилевский:

Марья Ивановна Гоголь всегда говорила о сыне с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым. В обожании сына Марья Ивановна доходила до Геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие силы.

Анна Васильевна Гоголь. *Из письма Г. П. Данилевскому:*

Наша мать умерла, 76-ти лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, скоропостижно, на первый день Светлого праздника; вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до смерти была очень моложава и бодра; у нее не было морщин и седины.

Сестры

Елизавета Васильевна Гоголь *(в замужестве Быкова):*

Приезд брата (в 1832 г. – Сост.) был для нас истинный праздник. Со мною он был ласковее, чем с другими, и чаще играл и шутил. У старшей сестры была огромная датская собака «Дорогой»: брат часто сажал меня на нее и заставлял катать, а сам погонял. Приезжая, брат всегда привозил много разных гостинцев, конфект и проч., очень любил нам делать подарки и никогда не отдавал их все вдруг.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Помню, когда мне было еще лет десять, братец подарил мне стеклянное колечко, которое мне очень понравилось. Я надела его на палец и все любовались блеском его на солнце. Когда сели обедать, я по обыкновению поместилась подле братца, чтобы слышать его приятный голос, и мне захотелось снять колечко и надеть его на другой палец, но нечаянно я уронила его на тарелку; оно издало очень понравившийся мне звук; но, очевидно, этот звук братцу показался очень резким – он в это время вел серьезный разговор, кажется, с приехавшим в гости соседним помещиком Чернышем. – «Оленька, перестань!» – сказал он, прерывая свою речь. Я спрятала колечко, но через минуту мне страшно захотелось снова услышать приятный звон колечка, и я как бы нечаянно снова уронила его на тарелку. – «Оленька, я тебе говорю, перестань!» – строго сказал братец. Я спрятала колечко, но, когда убрали блюдо и передо мной снова очутилась чистая тарелка, я почувствовала непреодолимое желание снова услышать звон колечка – и снова пустила его на тарелку. Братец молча взял у меня кольцо и спрятал его в карман. Когда гости разъехались, я подошла к нему и робко попросила его: «Братец, отдайте мне колечко». – «Не отдам, ты непослушная», – ответил братец с улыбкой, которая дала мне смелость повторить мою просьбу. «Ну, поди возьми его в гостиной на окне», – сказал, улыбаясь, братец. Я побежала в гостиную: там на окне действительно лежало мое колечко, но, когда я захотела его взять, оно рассыпалось на кусочки. Я со слезами возвратилась к братцу и тихо-тихо сказала ему: «братец, зачем вы его разбили?» Ему, очевидно, сделалось жаль меня, и он пообещал мне купить другое, еще лучше.

Елизавета Васильевна Гоголь *(в замужестве Быкова):*

По утрам он занимался со мною и Annette и учил нас

географии и истории; расскажет сначала сам, а потом заставит повторить сперва Annette, потом меня. Брат приехал за нами, чтоб отвезти нас в Петербург в Патриотический институт, где он преподавал историю. Он хлопотал сам обо всем, входил во все подробности, даже в заказ нашего гардероба, делал нам платья дорожные, для поступления в институт и для других случаев. <…>

В Петербурге брат старался доставить нам всевозможные удовольствия: возил нас по нескольку раз в театр, зверинец и другие места. Раз повез он нас в театр и велел нам оставить наши зеленые капоры в санях извозчика; кончается спектакль, зовем извозчика, а его и след пропал; пришлось, таким образом, брату заказывать новые. <…> Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам приготовлял какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, – он их очень любил.

Не выходя к гостям брата, мы все-таки имели возможность наблюдать их приезд из одного окна своей комнаты, которое выходило в переднюю. Мы прожили таким образом с братом, кажется, с месяц; в это же время он нас сам подготовлял к поступлению в институт, не забывая в то же время покупать нам разные сласти и игрушки. Несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать.

Анна Васильевна Гоголь. *Из письма Г. П. Данилевскому:*

Брат считал нас, двух сестер (Елизавету и Анну), своими воспитанницами, потому что сам поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу: «Pogodin ist ein umgekehrter Gogol», он посоветовал мне перевести так: «Погодин – вывороченный Гоголь». При этом он старался нас уверить, что наши переводы «очень нужны», сам их поправлял и давал нам награды за них.

Елизавета Васильевна Гоголь *(в замужестве Быкова):*

За три месяца до выпуска приехал из Рима брат, и так как он не мог долго оставаться в Петербурге, то он взял нас раньше выпуска. Брат и тут заботился о нас очень много, он входил положительно во все: ездил по магазинам, заказывая нам платья у Курт, покупая белье и все до последней мелочи, – вероятно, наш выпуск обошелся ему недешево; накануне выхода он сам привез нам все, но все-таки самое нужное он забыл: покупая все

до мелочей, забыл купить рубашки и должен был ехать покупать две готовые. В первый раз после 6½ лет мы надевали свое платье, и это нас очень занимало. Из института брат нас поместил у своих знакомых Балабиных, которые предложили приютить нас у себя до нашего отъезда в Москву; мы у них пробыли почти с месяц и каждый день почти бывали в институте. Брат часто приезжал к Балабиным с нами обедать… Застенчивость положительно была моим мучением. У Балабиных, например, эта застенчивость заставляла нас голодать: я не пила по утрам чаю, а кофе мне было совестно попросить более получашки с крошечным сухариком, и затем я ждала обеда до шести часов. Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от голода, – особенно я, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучения, – я ничего не ем, тем более что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блюдо; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы. Иногда, в виде катания, брат возил нас к себе на квартиру, и здесь мы несколько утоляли свой голод всем, что попадалось под руку: калачом, вареньем и проч. В Петербурге же брат познакомил нас с Аксаковыми, – со стариком, Сергеем Тимофеевичем, и старшей его дочерью Верой Сергеевной. <…>

Брат заставлял нас каждый день делать переводы и вышивать; мы вышивали для него подушки, до которых он был большой охотник. Брат жил с нами, и я часто ходила к нему в комнату, и когда он не был очень занят, то всегда шалил и шутил со мною; бывало, как только я вхожу к нему в комнату, он тотчас же торопится запирать все свои ящики, так как я была очень любопытна и, увидя его рукописи, тотчас начинала перебирать их и читать, чего он очень не любил. Брат, так же, как и я, был большой лакомка, и у него в бюро всегда имелся большой запас орехов и слив в сахаре (его любимое лакомство). Зная это, я сейчас же отправляла в ящики бюро свои руки; если брат не успевал вовремя его закрыть, то у нас начиналась борьба, из которой брат, конечно, всегда выходил победителем. Он часто делал нам подарки, и мы находили у себя сюрпризом то хорошенький флакон, то корзинку, рабочий ящик и др. Я уже говорила, что брат не любил видеть нас без дела и заставлял в будни переводить, а по праздникам вышивать. Вдруг раз в праздник он посылает меня вместо обычного вышивания за переводы, я очень огорчилась и почти со слезами отправилась переводить. И что же? Вместо тетради для переводов я вижу

на своем столе ящик моих любимых конфект! – Брат часто возил нас на литературные вечера, к Хомяковым, Свербеевым, Елагиным, Киреевским и другим, хотя мы очень мало вникали в самые чтения: я думаю, что это было для нас на то время слишком серьезно. Брат одевал нас всегда по своему вкусу, и мы неизменно являлись всюду в одних и тех же костюмах, – любимых брата, – белых муслинных платьях. Брат не желал нас отпускать в деревню, говоря, что мы там одичаем, но здоровье сестры Аннет, которое было слабо и которую доктора советовали отправить в деревню в Малороссию и лечить, заставило его написать матери, чтобы она приехала за сестрою, меня же он решил оставить у себя. Брат занимал у Погодиных комнату на хорах, а против него такую же большую занимали мы с Аннет. Я была трусиха и часто просила брата, чтобы он посидел, пока я засну, и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти прихоти, сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну. Его я совершенно не конфузилась и была с ним как с старшей сестрой. Раз он нарисовал меня лежащую в ночном чепчике и кофточке, – я рассердилась и долго приставала к нему отдать мне этот рисунок, который совершенно не был похож на меня.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

За обедом я всегда около него сидела. Всякий раз, когда увидит, что я любимое его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он перед обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила; всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится.

Жизнь и судьба

Детство

Григорий Петрович Данилевский:

Гоголь, по словам его матери, родился 19-го марта, в 1809 году, в селе Сорочинцах, в двадцати верстах от Яновщины. <…> Марья Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, вследствие чего появление на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумьем, будет ли ему суждено остаться в живых? Родился мальчик, которого назвали Николаем. Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, однако, скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не помнил, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор <В. В.> Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» Склонность Гоголя к стихам проявлялась в нем впоследствии еще не один раз. По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна.

Иван Григорьевич Кулжинский:

Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжею походкою, и никогда не знавшего латинского урока.

Софья Васильевна Скалон *(урожд. Капнист) (1796–1861), знакомая семейства Гоголей-Яновских:*

Гоголя я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать.

Александра Осиповна Смирнова:

В памяти сохранился у меня рассказ Гоголя о себе еще мальчиком.

– Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса, киса», – пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на воде разбежались – водворились полный покой и тишина, – мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 2 октября 1833 г.:*

Я помню: я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне.

Никого особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядел бесстрастными глазами; я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся. Но один раз, – я живо, как теперь, помню этот случай, – я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли.

Григорий Петрович Данилевский:

Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, рано умершим братом, Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи. <…>

Смерть младшего брата до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти его в Нежинский лицей, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей.

В Нежинской гимназии

Пантелеймон Александрович Кулиш:

По воспоминаниям его соучеников, Гоголь представляется нам красивым белокурым мальчиком, в густой зелени сада Нежинской гимназии, у вод поросшей камышом речки, над которою взлетают чайки, возбуждавшие в нем грезы о родине. Он – любимец своих товарищей, которых привлекала к нему его неистощимая шутливость, но между ними немногих только, и самых лучших по нравственности и способностям, он избирает в товарищи своих ребяческих затей, прогулок и любимых бесед, и эти немногие пользовались только в некоторой степени его доверием. Он многое от них скрывал, по-видимому без всякой причины, или облекал таинственным покровом шутки. Речь его отличалась словами малоупотребительными, старинными и насмешливыми; но в устах его все получало такие оригинальные формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все перерабатывалось в горниле юмора. Слово его было так метко, что товарищи боялись вступать с ним в саркастическое состязание. Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем, о котором впоследствии он из глубины души восклицал: «О, моя юность! О, моя свежесть!», что даже школьные враги его, если только он имел их, были ему до конца жизни дороги. Ни об одном из них не отзывается он с холодностью или неприязнью, и судьба каждого интересовала его в высшей степени.

Александр Семенович Данилевский:

Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища. Сам он долго казался заурядным мальчиком. <…> Но перед окончанием курса его заметил и стал отличать профессор Белоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и «добронравного»; но это относится только к благородству его натуры, чуждавшейся всего низкого и коварного. Он, действительно, никому не сделал зла, ни против кого не ощетинивался жестокою стороною своей души; за ним не водилось каких-либо дурных привычек. Но никак не должно воображать его, что называется, «смирною овечкою». Маленькие,

злые ребяческие проказы были в его духе, и то, что он рассказывает в «Мертвых душах» о гусаре, списано им с натуры.

Александр Семенович Данилевский:

В Нежине товарищи его любили, но называли: таинственный карла.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Гоголь постоянно косился на нас, держался в стороне, смотрел всегда букою. Насмешки наши над Гоголем еще усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей – конфет и пряников. И все это по временам, доставая оттуда, он жевал не переставая, даже и в классах, во время занятий. Для этого он обыкновенно забивался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство. Чтобы занять в классе местечко, где бы его никто не видел, он приходил в аудиторию первым или последним и, засев в задних рядах, так же и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Балабиной 7 ноября 1838 г., из Рима:*

Когда я был в школе, и был юношей, я был очень самолюбив; мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уж бывал совершенно доволен, узнавши все о себе.

Александр Семенович Данилевский:

В обыденном домашнем быту воспитанники забавлялись шалостями, изобретаемыми Гоголем и другими резвыми мальчиками. Так, напр., однажды Гоголь, передразнивая учителя физики Шапалинского, попался ему на глаза, за что последний, сильно рассердившись, схватил его и долго тряс за плечи. Севрюгин, учитель пения, замечая, что Гоголь иногда фальшивил и не был в состоянии петь в такт с товарищами, приставлял ему скрипку к самому уху, называя его глухарем, что, разумеется, возбуждало общее веселье. <…>

Любимых игр у Гоголя не было.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

В числе странностей Гоголя было много его своеобразных взглядов на все то, что общество признавало для себя законом. Это Гоголь игнорировал, называл недостойным делом, от которого надо было бежать и избавлять себя, как врага, мечом мысли. В церкви, напр., Гоголь никогда не крестился перед образами св. отцов наших и не клал перед алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию. Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку великопостной службы. Не одобрял он также степеней и градаций в церкви и толкал мужика вперед, говоря: «Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе!» Нередко он обращался к мужику в церкви с вопросом: «Есть ли у тебя деньги на свечку?» – сейчас же вынимал из кармана монету и отдавал ее мужику, говоря: «На, поди, поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь; это лучше, чем кто другой за тебя поставит». Гоголь торжествовал, что его цель была достигнута, и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном. Ему только того и нужно было, чтобы мужик потерся своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал их своей пыльцой.

Однажды Гоголь, недовольный пением дьячков, зашел на клирос и стал подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник, услышавший незнакомый ему голос, выглянул из алтаря и, увидев Гоголя, велел ему удалиться. Это страшно разобидело Гоголя, и он перестал ходить в церковь. Замечая его отсутствие за обедней, священник прочел ему нотацию и сказал, что если он и впредь не будет посещать храма божья, то наложит на него эпитимию. Но Гоголь этого не устрашился и по-прежнему на обедню не ходил. Эпитимию же он также не пожелал выполнять в церкви в присутствии всех молящихся и постоянно отзывался больным. За это ему в «поведении» была поставлена единица, и он над нею посмеялся в следующих словах: «Хорошо, что не двойка; единицу-то хоть можно принять за туза, а двойка так и останется двойкой».

Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. На деле же он иногда превосходил самого себя. Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что «я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем

среди людей». Такое отрицание было у него к обмену мыслей между людьми. Так, он не любил нас, детей аристократов, будучи сам демократом. <…>

Пытка в школе для Гоголя тянулась в продолжение всего времени, пока он оставался в Нежине. Благодаря его неряшливости мы все брезговали подавать ему руки при встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго приветствия, стараясь всегда не замечать никого из нас. Он вечно оставался один. В конце концов мы даже перестали брать в руки и те книги в библиотеке, которые он держал в руках, боясь заразиться какой-нибудь нечистью. <…>

Таким образом, жизнь Гоголя в школе была, в сущности, адом для него. С одной стороны, он тяготился своим «хуторным происхождением» однодворца, с другой – физической неприглядностью. И над всем-то мы смеялись, и отрицали в нем всякое дарование и стремление к образованию, к наукам. Гоголь понимал это наше отношение к нему, как признак столичной кичливости детей аристократов, и потому сам знать нас не хотел. Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, напр.: со своим «дядькою», прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина – в особенности. Это сближение с людьми простыми, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни и вызывало поэтическое настроение. Так, по крайней мере, мы это замечали по тому, что он, после каждого такого нового знакомства, подолгу запирался в своей комнате и заносил на бумагу свои впечатления.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма родителям 7 января 1822 г., из Нежина:*

Ежели бы вы прислали денег мне, потому что моя казна вся истощилась. Один мой товарищ купил за восемь рублей ножик; я просил его, чтобы дал мне посмотреть; и я забыл ему отдать сейчас, а положил в свой ящик; но через минуту посмотрел в ящик, и его уже там не было. Теперь он говорит, чтобы я отдал сейчас ему восемь рублей, а не то – так он возьмет все мои вещи и еще пожалуется гувернерам, и они меня накажут со всею строгостию. Простите мне это. Я вперед уж никогда не буду чужих вещей брать, а когда и попрошу вперед, то буду сейчас отдавать и со всею осторожностию. И прошу вас, пожалуйста, пришлите мне денег, хоть рублей десять; то я отдам ему восемь рублей, а два рубля оставлю на письма. Еще прошу вас, пришлите мне тулуп, потому что не дают казенного ни тулупа, ни шинели, а только в одних мундирах, несмотря на стужу. И еще ежли б вы прислали жилетов хоть два. Здесь нам дают по одному жилету.

Н. Ю. Артынов, *товарищ Гоголя по гимназии:*

В гимназии Гоголь был тем только и замечателен, что имел слишком остроконечную бороду, да еще, пожалуй, тем, что постоянно, бывало, ходит на Магерки. Магерки – это предместье Нежина. Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там. Учился же Гоголь совсем не замечательно. От профессора русской словесности Никольского получал постоянно тройку. В сочинениях его по словесности бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох был Гоголь по языкам. Классы языков составляли тогда у нас три особые, независимые от других классов отделения, которые студенты всех курсов проходили по мере успехов. Гоголь окончил курс гимназии, но по языкам не дошел до третьего отделения. Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредственность, и никому из нас и в голову не приходило, чтобы он мог впоследствии прославиться на поприще русской литературы.

Нестор Васильевич Кукольник *(1809–1868), писатель, товарищ Гоголя по гимназии:*

У Ив. Семеновича Орлая (директора гимназии) было в Полтавской губернии, в Миргородском уезде крошечное имение, при котором было всего шесть душ. Имение это находилось в соседстве с деревней матери Гоголь-Яновского. Кстати замечу, что в гимназии Гоголь, как между товарищами, так и по официальным спискам, – Гоголем не назывался, а просто Яновским. Однажды, уже в Петербурге, один из товарищей при мне спросил Гоголя: «С чего ты это переменил фамилию?» – «И не думал». – «Да ведь ты Яновский». – «И Гоголь тож». – «Да что значит гоголь?» – «Селезень», – отвечал Гоголь сухо и свернул разговор на другую материю. Я вспомнил и о Гоголе, и о крошечном имении Ивана Семеновича по забавному обстоятельству. Иван Семенович не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, а потому немудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одной и тою же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: «Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все

очень хорошо». – «Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить». Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам.

Григорий Петрович Данилевский:

Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина».

Мария Ивановна Гоголь:

Когда выйдет новая книга, по названию многообещающая, то Никоша готов выписать ее из чужих краев, – что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег: после признался мне, что когда он начитает о новой книге, то дрожит, как бы ее выписать скорее – и за это получил от меня реприманд. Я называю сию охоту страстью; хотя она и не постыдна, как карточная, но тоже может разорять… Человек, который был при нем в Нежине (род дядьки), говорил мне по секрету, что барин его не умеет беречь денег и себя же обижает, говоря, что когда я дам ему денег по праздникам на конфеты, до которых он большой охотник, то когда не успеет еще купить и встретится ему бедный, то так и старается, как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги, думая, что я не видал, но я всегда так и слежу за ним, и когда другие дети едят лакомства, то я его спрашиваю: что же он не ест? – то он мне отвечает, что уже съел; но обманывает меня, старика, и заключает; не давайте ему денег, пропадут ни за что.

Александр Семенович Данилевский:

В школе Гоголь мало выдавался, разве под конец, когда он был нашим редактором лицейского журнала. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия – его призвание. Мы выписывали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались втроем и читали «Онегина» Пушкина, который тогда выходил по главам. Гоголь уже тогда восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек. Гоголь отлично копировал Никольского.

Константин Михайлович Базили *(1809–1884), товарищ*

Гоголя по гимназии, в 1844–1853 гг. – генеральный консул посольства России в Сирии и Палестине:

Профессор словесности Никольский о древних и о западных литературах не имел никакого понятия. В русской литературе он восхищался Херасковым и Сумароковым; Озерова, Батюшкова и Жуковского находил не довольно классическими, а язык и мысли Пушкина тривиальными, сознавая, впрочем, некоторую гармонию в его стихах. Шалуны товарищи в пятом и шестом классах, обязанные еженедельно данью стихотворения, переписывали, бывало, из журналов и альманахов мелкие стихотворения Пушкина, Языкова, кн. Вяземского и представляли профессору за свои, хорошо зная, что он современною литературою вовсе не занимался. Профессор торжественно подвергал строгой критике стихотворения эти, изъявлял сожаление, что стих был гладок, а толку мало: «Ода не ода, – говорил он, – элегия не элегия, а черт знает что»; затем начинал поправлять. Помнится, и «Демон» Пушкина был переправлен и переделан на лад профессора нашего, к неописанному веселию всего класса. Презрение к новой литературе и происходившее отсюда невежество в этой области простирались у Никольского до того, что однажды он попал в очень забавный просак, подписав, после многих помарок, на поданном ему Гребенкою, впоследствии известным писателем, вместо своего – стихотворении Козлова «Вечерний звон»: «Изряднехонько». Другой раз, подобным же образом введенный в обман, он одобрил описание весны из «Евгения Онегина», не подозревая, что стихотворение было написано глубоко презираемым им Пушкиным.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Проф. Н. П. Никольский заставлял учеников сочинять: это была его слабость, – и не только сочинять что-нибудь прозой, но даже и стихами. На одном уроке Гоголь подает ему стихотворение Пушкина – кажется, «Пророк». Никольский прочел, поморщился и, по привычке своей, начал переделывать. Когда пушкинский стих профессором был вконец изуродован и возвращен мнимому автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал: «Да ведь это не мои стихи-то». – «А чьи?» – «Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали». – «Ну, что ты понимаешь! – воскликнул профессор. – Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло».

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Соученик и друг детства и первой молодости Гоголя, Н. Я. Прокопович, сохранил воспоминание о том, как Гоголь, бывши еще в одном из первых классов гимназии, читал ему наизусть свою стихотворную балладу «Две рыбки». В ней, под двумя рыбками, он изобразил судьбу свою и своего (умершего) брата, – очень трогательно, сколько припомнит Прокопович тогдашнее свое впечатление.

Наконец, сохранилось предание еще об одном ученическом произведении Гоголя, – о трагедии «Разбойники», написанной пятистопными ямбами.

Герасим Иванович Высоцкий, *товарищ Гоголя по гимназии:*

Охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Бороздина, которого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Бороздина, 12 декабря, Гоголь выставил в гимназической зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище дервишей всех.
Инок монастыря строптивой,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье

Достал он титул сей.
О, чтец! Имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

Вслед за тем Гоголь написал сатиру на жителей города Нежина под заглавием: «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» и изобразил в ней типические лица разных сословий. Для этого он взял несколько торжественных случаев, при которых то или другое сословие наиболее выказывало характеристические черты свои, и по этим случаям разделил свое сочинение на следующие отделы: «1) Освящение церкви на греческом кладбище; 2) Выбор в греческий магистрат; 3) Всеедная ярмарка; 4) Обед у предводителя (дворянства) П***; 5) Роспуск и съезд студентов». Я имел копию этого довольно обширного сочинения, списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в гимназии, выписал ее от меня из Петербурга под предлогом, будто бы он потерял подлинник, и уже не возвратил.

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*

Первые мои опыты, первые упражнения в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самых ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Не ограничиваясь первыми успехами в стихотворстве, Гоголь захотел быть журналистом, и это звание стоило ему больших трудов. Нужно было написать самому статьи почти по всем отделам, потом переписать их и, что всего важнее, сделать обертку наподобие печатной. Гоголь хлопотал изо всех сил, чтобы придать своему изданию наружность печатной книги, и просиживал ночи, разрисовывая заглавный листок, на котором красовалось название журнала: «Звезда». Все это делалось украдкою от товарищей, которые не прежде должны были узнать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец, первого числа месяца книжка выходила в свет. Издатель брал иногда на себя труд читать вслух свои и чужие статьи. Все внимало и восхищалось. В «Звезде», между прочим, была помещена повесть Гоголя «Братья Твердиславичи» (подражание повестям, появлявшимся в тогдашних альманахах) и разные его стихотворения. Все это написано было так называемым «высоким слогом», из-за которого бились и все сотрудники редактора. Гоголь был комиком во время своего ученичества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким. Но журнал его имеет происхождение комическое. Был в гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта – словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «Альманаха» и издал под заглавием: «Парнасский Навоз». От этой

шутки он перешел к серьезному подражанию журналам и работал над обертками очень усердно в течение полугода или более.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Наш товарищ П. Г. Редкин имел комнату у проф. Белоусова. По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями были – Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их и решения, годятся ли они для помещения в издававшемся нами рукописном журнале «Навоз Парнасский» или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтожению. Некоторые из стихотворений Гоголя, в приятельской переделке Прокоповича, были помещены в этом журнале, чему всегда радовался безгранично Гоголь. Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гимназии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась она «Братья Твердославичи, славянская повесть». Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь. – «В стихах упражняйся, – дружески посоветовал ему тогда Базили, – а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». Но без приятельской поддержки Прокоповича и стихи Гоголя были бы негодны, так как он никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а гоняясь за рифмами, так обезображивал всегда смысл своих творений, что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в ужас.

Константин Михайлович Базили:

В 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось дело без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страниц в пятьдесят и шестьдесят в желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. Нестор Кукольник издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. По воскресеньям собирался

наш кружок, человек 15–20 старшего возраста, и читались наши труды, и шли толки и споры.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Над чем другим Гоголь, может быть, и работал в школе наравне с нами, но над своей разговорной речью он поставил крест. И такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется. Однажды ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей, но Гоголь ему на это ответил: «А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?»

Александр Семенович Данилевский:

Жизнь в пансионе была привольная: дети пользовались хорошим помещением, большой свободой и могли даже устраивать сообща удовольствия, из которых на первом плане стоял, конечно, театр. Весною и осенью к их услугам был обширный лицейский сад, в котором они проводили большую часть внеклассного времени. При тогдашних ограниченных требованиях от учащихся на долю их выпадало немало досужих часов, да и самое приготовление к занятиям происходило у них нередко в саду, под обаятельным небом Украины. Иные из воспитанников умудрялись даже, забрав с собою необходимый письменный материал, в виде карандашей и бумаги, обдумывать и отчасти набрасывать свои сочинения где-нибудь в саду на дереве.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Воротясь однажды после каникул в гимназию, Гоголь привез на малороссийском языке комедию, которую играли на домашнем театре Трощинского, и сделался директором театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а недостаток в костюмах дополняло воображение артистов и публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его товарищей, так что, после предварительных опытов, ученики сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копируя, разумеется по указанию Гоголя, театр, на котором подвизался его отец: другого никто не видел. Гоголь не только дирижировал плотниками, но сам расписывал декорации.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Ученики жертвовали на театральный гардероб кто что мог. Между прочим, была пожертвована кем-то пара заржавевших и обломанных пистолетов, замечательная по следующему случаю.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма родителям 22 января 1824 г., из Нежина:*

Пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена «Эдип в Афинах», трагедия Озерова. <…> Так, ежели можно прислать и сделать несколько костюмов сколько можно, даже хоть и один, но лучше ежели бы побольше; также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой просьбе. Каждый из нас уже пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу.

Уведомляю вас, что я учусь хорошо, по крайней мере сколько дозволяют силы. <…> Я думаю, дражайший папенька, ежели бы меня увидели, то точно бы сказали, что я переменился, как в нравственности, так и успехах.

Константин Михайлович Базили:

Театральные представления давались на праздниках. Мы с Гоголем и Романовичем сами рисовали декорации. Одна из рекреационных зал (они назывались у нас музеями) представляла все удобства для устройства театра. Зрителями были, кроме наших наставников, соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина, Эммануеля. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвенный уездный городок и доставляли некоторое развлечение случайному его обществу. Играли мы трагедии Озерова «Эдип» и «Фингал», водевили, какую-то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголем, от которой публика надрывалась со смеху. Но удачнее всего давалась у нас комедия фон-Визина «Недоросль». Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл Недоросля, а Данилевский – Софью. Благодаря моей необыкновенной в то время памяти доставались мне самые длинные роли – Стародума, Эдипа и другие.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Однажды, перед самым представлением «Недоросля», Гоголь как-то задел своею шуткою одного из товарищей – Базили. Тот вспыхнул и отказался играть; а он играл роль Стародума. Ну как без Стародума приступить к представлению? Гоголь сделал вид, что вышел из себя; в страшной мести он вызвал товарища

на дуэль и подал ему театральные пистолеты без курков. Базили рассмеялся и стал играть. Начальство гимназии воспользовалось этою страстью, чтобы заохотить воспитанников к изучению французского языка, и ввело в репертуар Гоголева театра французские пьесы. Тут-то и Гоголю пришлось познакомиться с французским языком. Русские пьесы, однако ж, не выводились, и предание гласит, что Гоголь особенно отличался в роли старух. Театр, основанный Гоголем в гимназии, процвел наконец до того, что на представления его съезжались и городские жители.

Нестор Васильевич Кукольник:

Нам поставлено было в обязанность каждый раз, когда у нас будут спектакли, непременно и прежде всего сыграть французскую или немецкую пьесу. Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пьес. Он выбрал немецкую. Я предложил ему роль в двадцать стихов, которая начиналась словами: «O mein Vater!», затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ оканчивался словами: «nach Prag!» Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: «O mein Vater!» – запнулся, покраснел, но тут же собрался с силами, возвысил голос, с особенным пафосом произнес: «nach Prag!» – махнул рукой и ушел. И слушатели, большею частью не знавшие ни пьесы, ни немецкого языка, остались исполнением роли совершенно довольны. Зато в русских пьесах Гоголь был истинно неподражаем, особенно в комедии Фонвизина «Недоросль», в роли г-жи Простаковой; я играл Митрофанушку. Из русских пьес я помню еще представление «Чудаков», комедии Княжнина, «Хлопотуна» Писарева (главную роль – Гоголь); из французских – «Medecin malgre lui» и «Avare» Мольера. Мы собирались играть «Фингала»; роли были розданы; даже репетиции по частям начались. Роль Старна назначалась Гоголю, Фингала – мне, Моины – Гинтовту, но уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр.

Тимофей Григорьевич Пащенко:

На небольшой сцене второго лицейского музея лицеисты любили иногда играть по праздникам комические и драматические пьесы. Гоголь и Прокопович – задушевные между собою приятели – особенно заботились об этом и устраивали спектакли. Играли пьесы и готовые, сочиняли и сами лицеисты. Гоголь и Прокопович были главными авторами и исполнителями пьес. Гоголь любил преимущественно комические пьесы и брал роли стариков, а Прокопович –

трагические. Вот однажды сочинили они пьесу из малороссийского быта, в которой немую роль дряхлого старика-малоросса взялся сыграть Гоголь. Разучили роли и сделали несколько репетиций. Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицеистов и посторонние. Пьеса состояла из двух действий; первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем не являлся, а должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет.

Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит крехтя до скамейки и садится. Сидит трясется, крехтит, хихикает и кашляет; да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сиплым старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом… А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху…

С этого вечера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком. В другой раз Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика – страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком… По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригинал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого… Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие. Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Г. И. Высоцкому 19 марта 1827 г., из Нежина:*

В пансионе теперь у нас весело. Всевозможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. И признаюсь,

ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс – теперь, по крайней мере, могу твердо выдержать эту жестокую пытку, эти четырнадцать месяцев. Масленую мы провели прекрасно. Четыре дня сряду был у нас театр; играли превосходно все. Все бывшие из посетителей, людей бывалых, говорили, что ни на одном провинциальном театре не удавалось видеть такого прекрасного спектакля. Декорации (четыре перемены) сделаны были мастерски и даже великолепно. Прекрасный ландшафт на занавеси довершал прелесть. Освещение залы было блистательное. Музыка также отличилась; наших было десять человек, но они приятно заменили большой оркестр и были устроены в самом выходном, в громком месте. Разыграли четыре увертюры Россини, две Моцарта, одну Вебера, одну сочинения Севрюгина (лицейского учителя пения. – Сост.) и др. Пьесы, представленные нами, были следующие: «Недоросль», соч. Фонвизина, «Неудачный примиритель», комедия Я. Княжнина, «Береговое право» Коцебу и вдобавок еще одну французскую, соч. Флориана, и еще не насытились: к Светлому празднику заготовляем еще несколько пьес. Эти занятия, однако ж, много развлекали меня, и я почти позабыл было все грустное. Но надолго ли? Пришел пост, а с ним убийственная тоска. Никаких совершенно новостей, ничего любопытного вовсе не случалось.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Еще мы знаем Гоголя в роли хранителя книг, которые выписывались им на общую складчину. Складчина была невелика, но тогдашние журналы и книги нетрудно было при малых средствах приобресть все, сколько их ни выходило. Важнейшую роль играли «Северные цветы», издававшиеся бароном Дельвигом; потом следовали отдельно выходившие сочинения Пушкина и Жуковского, далее – некоторые журналы. Книги выдавались библиотекарем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в присутствии библиотекаря усесться чинно на скамейку в классной зале, на указанном ему месте, и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Это мало: библиотекарь собственноручно завертывал в бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял ему книгу. Гоголь берег книги, как драгоценность, и особенно любил миниатюрные издания. Страсть к ним до того развилась в нем, что, не любя и не зная математики, он выписал «Математическую энциклопедию» Перевощикова на собственные свои деньги, за то только, что она издана была в шестнадцатую долю листа.

Н. Ю. Артынов:

Гоголь любил чтение книг и особенно любил самые книги. Не могу без смеха вспомнить одной странности Гоголева библиотекарства. У нас была своя, студенческая библиотека, мы выписывали сочинения Пушкина, «Московский телеграф» и проч. Вот мы и избрали Гоголя библиотекарем: он был пансионер, жил в корпусе, ему было удобнее, никто другой не соглашался, а он изъявил полную готовность; вот и согласились, чтобы он смотрел за книгами. Очень он любил чистоту книг и для сохранения ее выдумал такое замысловатое средство. Наделает из бумаги пропасть сверточков, в виде наперстков, и предлагает студентам надевать на пальцы эти наконечники, чтобы при чтении и перелистывании книг не засаливать их пальцами. Студенты, конечно, не следовали этому совету, смеялись, да и только. Таков-то был этот Гоголь.

Аттестат об окончании курса

Николай Гоголь-Яновский, коллежского асессора Василия Афанасьевича сын, поступивший 1 мая 1821 года в гимназию высших наук кн. Безбородко, окончил в оной полный курс учения в июне месяце 1828 г., при поведении очень хорошем, с следующими в науках успехами:

в законе Божьем с *очень хорошими*,
в нравственной философии с *очень хорошими*,
в логике с *очень хорошими*,
в российской словесности с *очень хорошими*,
в правах:
римском с *очень хорошими*,
в российском гражданском с *очень хорошими*,
в уголовном с *очень хорошими*,
в государственном хозяйстве с *очень хорошими*,
в чистой математике с *средственными*,
в физике и началах химии с *хорошими*,
в естественной истории с *превосходными*,
в технологии, в военных науках с *очень хорошими*,
в географии всеобщей и российской с *хорошими*,
в истории всеобщей с *очень хорошими*,
в языках:
латинском с *хорошими*,
в немецком с *превосходными*,
в французском с *очень хорошими*,
в греческом (*нет отметки*), –

и по окончательном испытании конференциею гимназии удостоен звания студента и г. Министром утвержден в праве на чин 14-го класса, при вступлении в гражданскую службу, с освобождением его от испытания для производства в высшие чины, и при вступлении в военную службу через шесть месяцев, в нижних званиях, на чин офицера, хотя бы в полку, в котором принят будет, на тот раз и вакансии не было. В засвидетельствование чего и дан ему, Гоголю-Яновскому, сей аттестат от конференции гимназии высших наук кн. Безбородко, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати. Нежин. 1829 г. Января 25 дня.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 1 марта 1828 г., из Нежина:*

Кроме неискусных преподавателей наук, кроме великого нерадения и пр., здесь языкам совершенно не учат <…>. Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе <…>. У меня не было других путеводителей, кроме меня самого; а можно ли самому, без помощи других, совершенствоваться. Но времени для меня впереди еще много, силы и старание имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны нимало; напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением <… >. Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами. Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом – угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем – болтлив и докучлив до чрезвычайности. У иных – умен, у других глуп… Только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер…

В начале пути. Петербург

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

Выехали они в Петербург (в 1829 году) – Гоголь, Данилевский и Яким. По приезде остановились в гостинице, где-то возле Кокушкина моста, а потом поселились на квартире близ того же моста в доме Зверькова. Здесь Гоголь прожил около двух лет. <… > Как в доме Зверькова, так и в следующем своем местожительстве, на углу Гороховой и Малой Морской, Гоголь занимал квартиру комнат в пять.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 3 января 1829 г., из Петербурга:*

(По прибытии. – Сост.) в столицу на меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. <…> Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее и великолепнее <…>. Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали. За квартиру мы (с Данилевским. – Сост.) платим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы также не дешевы, выключая одной только дичи (которая, разумеется, лакомство не для нашего брата). Картофель продается десятками, десяток луковиц репы стоит 30 коп… Это все заставляет меня жить как в пустыне, я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, то есть для моего неплотного кармана. В одной дороге издержано мною триста с лишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне двухсот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 30 апреля 1829 г., из Петербурга:*

Я переменил прежнюю свою квартиру. <…> Я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, это все пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли еще будет на жизненном пути, всего понаберешься, знаю только, что, если бы втрое, вчетверо, всотеро было более нужд, и тогда бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге. Вы

не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будняя; что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно, – и, несмотря на это все, по расчету менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире. Вот я и решился… <…> Я живу на четвертом этаже (на Б. Мещанской, в доме каретника Иохима. – Сост.), но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Когда еще стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один. Но, впрочем, мои работы повернулись, и я надеюсь в недолгом времени добыть же чего-нибудь. <…> Проклятая болезнь, посетившая было меня при вскрытии Невы, помогла еще более истреблению денег <… >.

Фаддей Венедиктович Булгарин *(1789–1859), журналист, прозаик, критик, издатель:*

В конце 1829 или 1830 г., хорошо не помню, один из наших журналистов (сам Булгарин) сидел утром за литературною работою, когда вдруг зазвенел в передней колокольчик и в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого роста, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, попросив посетителя присесть, стал читать поданную ему бумагу – это были похвальные стихи, в которых журналиста сравнивали с Вальтер Скоттом, Адиссоном и т. д. Разумеется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов, за лестное об нем мнение и спросил, чем он может ему служить. Тут посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из учебного заведения искать места и не знает, к кому обратиться с просьбою. Журналист просил посетителя прийти через два дня, обещая в это время похлопотать у людей, которые могут определять на места. Журналист в тот же день пошел к М. Я. фон-Фоку, управляющему III Отделением собств. канцелярии его имп. величества, рассказал о несчастном положении молодого человека и усердно просил спасти его и пристроить к месту, потому что молодой человек оказался близким к отчаянию. М. Я. фон-Фок охотно согласился помочь приезжему из провинции и дал место Гоголю в канцелярии III Отделения. Не помню, сколько времени прослужил Гоголь в этой канцелярии, в которую он являлся только за получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель

Гоголя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обратно его бумаги. Сам же Гоголь исчез куда неизвестно! У журналиста до сих пор хранятся похвальные стихи Гоголя и два его письма (о содержании которых почитаю излишним извещать); но более Гоголь журналиста не навещал!

Тимофей Григорьевич Пащенко:

Не имея ни призвания, ни охоты к службе, Гоголь тяготился ею, скучал и потому часто пропускал служебные дни, в которые он занимался на квартире литературою. Вот после двух-трех дней пропуска является он в департамент, и секретарь или начальник отделения делают ему замечания: «Так служить нельзя, Николай Васильевич, службой надо заниматься серьезно». Гоголь вынимает из кармана загодя приготовленное на высочайшее имя прошение об увольнении от службы и подает. Увольняется и определяется несколько раз.

Николай Петрович Мундт *(1803–1872), драматург, беллетрист, переводчик, историк театра:*

В одно утро 1830 или 1831 года, хорошо не помню, мне доложили, что кто-то желает меня видеть. В то время я занимал должность секретаря при директоре Императорских театров, князе Сергее Сергеевиче Гагарине, который жил тогда на Английской набережной, в доме бывшем Бетлинга, а теперь, кажется, Риттера, где помещалась и канцелярия директора.

Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном.

Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров.

– Позвольте узнать вашу фамилию? – спросил я.

– Гоголь-Яновский.

– Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

– Да, я желаю поступить на театр.

В то время имя Гоголя было совершенно неизвестно, и я не мог подозревать, что предо мною стоял, в смиренной роли просителя, будущий творец «Старосветских помещиков», «Тараса Бульбы» и «Мертвых душ». Я попросил его сесть и обождать.

Было довольно рано; князь еще не одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на него рукою и стал смотреть на Неву. Он часто морщился, прикладывал другую руку к щеке, и мне казалось, что у него болят зубы.

– У вас, кажется, болит зуб? – спросил я. – Не хотите ли одеколону?

– Благодарю, это пройдет и так!

Помолчав с полчаса, он спросил:

– А скоро ли могу я видеть князя?

– Полагаю, что скоро. Он еще не одевался.

Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу.

Вышел чиновник Крутицкий, и я попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он вернулся и сказал, что князь уже в кабинете.

Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю.

– Что вам угодно? – спросил князь.

Надобно заметить, что князь Гагарин, человек в высшей степени добрый, благородный и приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую, и тому, кто не знал его близко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое же впечатление произвел он и на Гоголя, который, вертя в руках шляпу, запинаясь отвечал:

– Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы.

– Ваша фамилия?

– Гоголь-Яновский.

– Из какого звания?

– Дворянин.

– Что же побуждает вас итти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.

Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью:

– Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня; мне кажется, что я не гожусь для нее; к тому ж я чувствую призвание к театру.

– Играли ли вы когда-нибудь?

– Никогда, ваше сиятельство.

– Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант.

– Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.

– Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?

– Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли.

Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:

– Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы

приличнее комедия; впрочем, это ваше дело.

Потом, обратясь ко мне, прибавил:

– Дайте господину Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доложил мне.

Князь поклонился, и мы вышли.

В то время инспектором русской труппы был известный любитель театра Александр Иванович Храповицкий. Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (княгиней Гагариной), считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, *драматическая икота*.

К этому-то великому знатоку драматического искусства адресовал я бедного Гоголя. Храповицкий назначил день для испытания, кажется в Большом театре, утром, в репетиционное время. Там заставил он читать Гоголя монологи из «Дмитрия Донского», «Гофолии и Андромахи», перевода графа Хвостова.

Я не присутствовал при этом испытании, но потом слышал, помнится мне, от М. А. Азаревичевой, И. П. Борецкого и режиссера Боченкова, а также, кажется, и от П. А. Каратыгина, что Гоголь читал просто, без всякой декламации; но как чтение это происходило в присутствии некоторых артистов и Гоголь, не зная на память ни одной тирады, читал по тетрадке, то сильно конфузился и, действительно, читал робко, вяло и с беспрестанными остановками.

Разумеется, такое чтение не понравилось, и не могло нравиться Храповицкому, истому поклоннику всякого рода завываний и драматической икоты. Он, как мне сказывали, морщился, делал нетерпеливые жесты и, не дав Гоголю кончить монолог Ореста из «Андромахи», с которым Гоголь никак не мог сладить, вероятно потому, что не постигал всей прелести стихов графа Хвостова, предложил ему прочитать сцену из комедии «Школа стариков»; но и тут остался совершенно недоволен.

Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, «что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра и что, если

его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только на *выход*». (Под этим выражением на театральном языке означались люди, которым поручалось на сцене выносить письма, подавать стулья и составлять толпу гостей, но которым никогда не позволялось разевать рта.)

Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испытания и не являлся за ответом; тем дело и кончилось.

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

«Сначала Николай Васильевич хотел поступить на театр». <…> Гоголь скоро бросил эту мысль и определился на службу, потом оставил службу и сделался учителем. Он два раза в неделю ходил в Институт, большею частью пешком, а то давал частные уроки, напр. в доме генерала Балабина. К нему приходили на дом ученики из дома католической церкви и другие. Из дому он получал очень мало и жил уроками.

Михаил Николаевич Лонгинов:

В первый раз увидел я Гоголя в начале 1831 года. Два старшие мои брата и я поступили в число учеников его. Это было в то же время, когда он сделался домашним учителем и в доме П. И. Балабина <…>.

Первое впечатление, произведенное им на нас, мальчиков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового нашего учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностию звания наставника. <…>

Двойная фамилия учителя Гоголь-Яновский, как обыкновенно бывает в подобных случаях, затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза.

– Зачем называете вы меня Яновским? – сказал он. – Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали.

Уроки начались немедленно и происходили более по вечерам. Несмотря на то, что такие необыкновенные часы могли бы произвести неудовольствие в мальчиках, привыкших, как мы, учиться только до обеда, классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние уроки. Сначала предполагалось, что он будет преподавать нам русский язык. Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал

толковать нам о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий – речь зашла о введении во всеобщую историю. Тогда покойный старший брат мой решился спросить у Гоголя: «Когда же начнем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?» Гоголь усмехнулся своею сардоническою усмешкою и ответил: «На что вам это, господа? В русском языке главное дело – уметь ставить G и e, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду иногда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта способность дается природой, а не ученьем». После этого классы продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, то есть один посвящался естественной истории, другой – географии, третий – всеобщей истории.

Я сказал уже, что уроки Гоголя нам очень нравились. Это немудрено: они так мало походили на другие классы; в них не боялись мы ненужной взыскательности со стороны учителя, слышали от него много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того, Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами. Новаторство было одним из отличительных признаков его характера. Когда кто-нибудь из нас употреблял какое-нибудь выражение, уже сделавшееся давно стереотипным, он быстро останавливал речь и говорил, усмехаясь: «Кто это научил вас говорить так? Это неправильно; надобно сказать так-то». Помню, что однажды я назвал Бальтийское море. Он тотчас же перебил меня: «Кто это научил вас говорить: Бальтийское море?» Я удивился вопросу. Он усмехнулся и сказал: «Надобно говорить: *Бальтическое море*; называют его именем Бальтийского – невежды, и вы их не слушайте». Но какой тон добродушия слышался во всех его замечаниях! Какою неистощимою веселостию и оригинальностию исполнены были его рассказы о древней истории! Не могу вспомнить без улыбки анекдоты его о войнах Амазиса, о происхождении гражданских обществ и проч.

Владимир Александрович Соллогуб:

В 1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка и с нею вместе – покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова, женщина высокой добродетели, постоянно тогда озабоченная воспитанием своих детей. Один из сыновей ее <Василий>, ныне умерший, к сожалению родился с поврежденным при рождении

черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. Все средства истощались, чтоб помочь горю, но все было напрасно. Тетка придумала, наконец, нанять учителя, который бы мог развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и беседуя с ним целый день. Такой учитель был найден, и когда я приехал в Павловск, тетка моя просила меня познакомиться с ним и обласкать его, так как, по словам ее, он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал. Как теперь помню это знакомство. Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их блеянию, мычанию, хрюканью и т. д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, – бе, бе… Вот это корова, знаешь, корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслыхав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени Николай Васильевич Гоголь.

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

Раза два в неделю у Гоголя собирались гости по вечерам; соберутся, бывало, сидят долго.

Павел Васильевич Анненков:

Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, – «ближайшим людям своим», как он их называл, – Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой

натуре, не исключая хитрости и сноровки затрагивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями), то, по крайней мере, сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть, невольный оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. <…>

Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены *на вес золота*. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по Лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер – из «Фенеллы», «Роберта», «Цампы») кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким

Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все *бобрами* завелись,
У Фаге все завились –
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву, и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. <…> Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». «Это *вы* говорите, – сказал он, – а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость – явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. <…> Он не любил уже в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил: «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Также мало знал он и Шекспира (Гёте и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя – Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска

и потому не могли задобривать его в пользу автора. Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения, за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. <…> В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли, – словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений – со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания; сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому немалое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами!

Григорий Петрович Данилевский:

О сожжении им изданной своей поэмы «Ганц Кюхельгартен»

мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким передал мне, что его покойный барин однажды, в Петербурге, пришел домой сильно не в духе и послал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам синенькие книжки, на которых было заглавие: «Ганц Кюхельгартен». Были собраны, привезены и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек.

Дружба с Пушкиным

Павел Васильевич Анненков:

Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил, и на вопрос свой: «дома ли хозяин?» – услыхал ответ слуги: «почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.

Петр Александрович Плетнев *(1792–1865), поэт, критик, профессор русской словесности Петербургского университета, в 1840–1861 – ректор Петербургского университета. Из письма А. С. Пушкину, 22 февраля 1831 г., из Петербурга:*

Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа <…>, также в «Литературной газете» – «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает.

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь был представлен Пушкину на вечере у П. А. Плетнева (в мае 1831 г. – Сост.).

Андрей Иванович Дельвиг, *барон (1813–1887), инженер, мемуарист, племянник поэта А. А. Дельвига:*

На вечерах Плетнева я видел многих литераторов, и в том

числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю.

Александр Сергеевич Пушкин *(1799–1837). Из письма А. Ф. Воейкову, в конце августа 1831 г., из Царского Села:*

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 2 ноября 1831 г., из Петербурга:*

Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе <…>. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей!

Со слов **Павла Воиновича Нащокина** *(1801–1854), близкого друга Пушкина:*

Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди.

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь не обладал тогда необходимою многосторонностью взгляда. Ему недоставало еще значительного количества материалов развитой образованности, а Пушкин признавал высокую образованность первым, существенным качеством всякого истинного писателя в России. Я сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: «Пушкин, – говорил Гоголь, – дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах; что в великих писателях нечего смотреть на форму, что, куда бы он ни положил

добро свое, – бери его, а не ломайся».

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

«Пушкин заходил часто». Небольшого роста, курчавый, рябоватый, некрасивый, одевался странно, кое-как. К Пушкину, бывало, на неделю раза три-четыре с запиской хожу или с письмом. Он жил тогда на набережной.

Григорий Петрович Данилевский:

Кстати об этом Якиме. Узнав, в 1837 году, о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя.

– О чем ты плачешь, Яким? – спросил его кто-то из знакомых.

– Как же мне не плакать… Пушкин умер.

– Да тебе-то что? Разве ты его знал?

– Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.

Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал расспрашивать Якима о времени знакомства Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей.

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться так же

беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключенье всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». <…> На этот раз и я сам уже задумался серьезно, – тем более, что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего.

Иван Федорович Золотарев:

Когда Пушкин был убит, Гоголь был глубоко поражен. Долгое время спустя после этого события он был молчалив и задумчив.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 30 марта 1837 г., из Рима:*

Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русской, как писатель, я… я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой («Мертвые

души». – Сост.) есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! что труд мой? Что теперь жизнь моя?

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 27 сентября 1839 г., из Москвы:*

Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в П<етер>бург, и Пушкина нет. Я увижу вас – и Пушкина нет.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь много беседовал со мной; мы говорили о русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта.

Павел Васильевич Анненков:

Таково было обаяние личности Пушкина, что когда за три месяца до смерти Гоголя я напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменилась, просветлела и оживилась его физиономия.

На профессорской кафедре

Николай Иванович Иваницкий *(1816–1858), литератор, в 1853–1858 – директор Псковской гимназии:*

Гоголь читал историю средних веков для студентов 2-го курса филологического отделения. Начал он в сентябре 1834, а кончил в конце 1835 года.

Николай Васильевич Гоголь:

ПРОГРАММА УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Так как учебный год состоит из двух полугодичных курсов, то я полагаю приличным лекции по истории средних веков разделить на две части: до крестовых походов и после крестовых походов. Итак,

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
ОТДЕЛЕНИЕ I
ОТ РАЗРУШЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ИМПЕРИИ ДО КАРЛА И ГАРУН <АЛЬ> РАШИДА

Прежде всего необходимо рассмотре<ть> статистическое состояние Западной империи за 50 лет до ее разрушения. Механизм правления ее, силы и средства. Состояние войск. Образ управления дальних и ближних провинций. Состояние христианства. Образ мыслей того времени. Влияние наук. Влияние варваров, занимавших первые должности в государстве. Средства для защиты. Невозможность существования империи и причины разрушения ее.

Потом силы и средства диких и свежих народов, известных под именем варваров. Невозможность отражения их в тогдашних обстоятельствах. Причины и силы, побуждавшие их к нападению. Влияние характера их, их обычаев, образа жизни.

Состояние Италии по занятии ее герулами. Состояние бывших провинций империи – Франции, Испании, Англии, Швейцарии, Германии под распоряжением новых властелинов. В чем состояло различие правлений от римских наместников.

Время царствования Феодорика и влияние его на Европу. Нравы, законы, постановления новых народов. Различные виды

феодализма у франков, алеманов, бургундов, готов. Принятие христианской <религии>. В каком виде христианство. Что происходит между тем в уцелевшей Восточной империи. Завоевания Юстиниановы и составление греческого экзархата. Образ управления экзархатом. Причины появления ломбардов в Италии и завоеван<ие> экзархата и других земель Италии. Меры восточных императоров к удержанию экзархата. Причины бунтов в Риме и хитрые поступки первых пап к возвышению свое<го> достоинства.

Возрастание силы франков правлением палатных меров. Старание пап воспользоваться могущест<вом> меров и с помощью их утвердить власть свою над Римом. Опасения, произведенные в Европе появлением аравитян. Рассмотрение этого нового народа, рассмотрение его отечества – Аравии. Какое влияние имела чудная и ужасная страна их. Обстоятельства и причины, вдохнувшие в них такой сверхъестественный энтузиазм. Рассмотрение новой религии: ее дух и сила, ее влияние. Быстрые завоевания аравитян в Азии, в Африке и наконец в Европе, завоевание Испании и встреча с франками. Франция под правлением короля Пипина, его постановления и перемены.

ОТДЕЛЕНИЕ II

ВЕК АРАВИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТ КАРЛА И ГАРУН АЛЬ РАШИДА ДО КРЕСТОВЫХ <ПОХОДОВ>

Период I. Век аравийского просвещения

1. Быстрое преобразование аравитян из завоевателей в просветители. Способность к этому арабов. Влияние, произведенное правлением Гарун аль Рашида. Характер правления его. Характер арабов того времени. Аравийская роскошь. Арабские философы. Состояние наук и искусств. Направление арабских познаний. Арабская архитектура. Статистическое состояние государства Гарунова.

Управление Западом императора Карла Великого. Его войны. Его цель и намерения. Характер его правления. Противоположность его государства государству Гаруна. Европейские силы. Медленное течение просвещения. Влияние Карла Великого.

2. Время разделения, расстройства и разрушения двух великих сил в мире – арабской и франков. Бессильные наследники Карла. Начертания и намерения Карловы стираются, наме<стники> обла<стей> герцоги и графы становятся почти независимыми от короля. Упадок государства Гарунова. Средства,

употребляемые к отвращению сего: войска из турок. Причины, произведшие падение: слабость калифов, отделение независимых владельцев, новые секты и расколы и те же турецкие войска. Рассмотрение отдельных калифатов в Аравии. Возрождающийся блеск калифата и Испании.

Период II. Время норманских наездов

Эпоха появления норманов. Их происхождение. Изображение севера Европы и отечества их Скандинавии, и влияние, которое могла иметь на них дикая северная природа. Сила дикой религии их. Их нравы, обычаи. Причины, побудившие их оставить северные стра<ны>. Образ войны и нападений их. Страх в Европе, производимый их нападения<ми>, вторжения их во Францию, в Англию. Встреча с Альфредом. Мудрые распоряжения этого государя к отражению и польза, принесенная государству. Составление войск в Европе из норманов, путешествования их в Константинополь на службу греческим императорам. Состояние тогдашней Восточной империи. Завоевания их в Росс<ии> и основание княжеств.

Отделение и возвышение Германии. Оттон провозглаш<ается> западным императором и становится первым лицом в Европе. Выгоды, доставленные папам императорами. Внутреннее управление Германии. Причины постепенного приобретения духовенством влияния и власти в государствах. Бенедиктинские аббатства. Степень невежества, варварства и суеверия. Обращение генуэзских утесов и венецианского болотца в удобное жительство для промышленности.

Период III. Время споров между императором и папою

Состояние Германии при малолетних государях. Влияние папской полит<ики> в Европе. Намерение папы Гильдебранта освободить духовенство от власти государей и подчинить своей. Причины, побудившие его к этому. Гильдебрантова цель и орудия. Новые строгие постановления для духовенства. Власть императора совершенно пересиливается папскою. Замечательные происшествия в остальной Европе. Англия сильно и упорно осаждается нормандскими корсарами. Правление датчанина Канута. Деспотизм Вильгельма Завоевателя и ниспровержение прежних законов и нравов англосаксов.

Усилившаяся власть турок и первые стычки с войсками константинопольского императора.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ ДО ОТКРЫТИЯ АМЕРИКИ И СОКРУШЕНИЯ ПАПСКОЙ ВЛАСТИ.

ОТДЕЛЕНИЕ I

ДО ОКОНЧАНИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ И ПОЯВЛЕНИЯ МОНГОЛОВ

Период I. Первый крестовый поход

Причины и естественность этого необыкновенного явления, соединившего народы Европы <в> одно. Первый крестовый, порождение одно<го> чистого энтузиазма без всяких посторонних целей и корыстолюбия. Стихии, составлявшие этот <поход>, вооружение, средства, образ войны. Состояние силы королевства Иерусал<имского>. Острова христианск<ие> и невозможность удержаться среди магометанских соседей, между которыми грознее других становится Саладин, и по поводу сего составление крестового похода.

Второй крестовый <поход> с тем же энтузиазмом, с большими еще силами, но уже с корыстолюбивыми и политическими видами пап. Препятствия со стороны греков, турков, моровых поветрий, климата и истребление войск Конрадом и Людовиком VII. Падение Иерусалима во власть Саладина и влияние этого события на Европу, возбудившего энтузиазм, месть и третий крестовый поход.

Начало третьего <крестового похода>. Третий [поход] вооружен под начальством Филиппа Августа и Ричарда, расстроившего Англию. Присоединение к прежним препятствиям, останавливавшим успехи крестоносцев, несогласия их предводителей. Папа выигрывает один. Всеобщее рвение охладевает к сожалению немногих ревностных энтузиастов, решающихся составить братства, независимые общества, мимо условий гражданских. Положение, права и влияние этих обществ, рыцарских орденов. Еще несколько крестовых походов поднимается, но уже главная цель не та. Освобождение гроба Христа только предлог; но завоевание Константинополя, Египта и страсть к странствованиям приманивают крестоносцев. Последнее неудачное предприятие Людовика IX.

Следствия крестовых походов, состоящие, первое, в соединении и сближении народов Европы между собою и оттого взаимная шлифовка и образование. Путешествия и странническая жизнь и оттого расширение сведений о мире и людях. Перенесение восточных нравов, обычаев, аравийского просвещения и византийского, и оттого происхождение рыцарства, новой готической архитектуры, облагороженной арабскою. Облегчение участи людей военных, в 4-х,

лишен<ных> долгое время <и> не видав<ших> своих грозных повелителей… Захватывание духовенством многих светских владений. Размножение нищенствующих монахов: францисканов, доминиканцев, августинов, кармелитов, <появление> трубадуров, романов и проч.

ОТДЕЛЕНИЕ II
ДО СОКРУШЕНИЯ ПАПСКОЙ ВЛАСТИ

Период I. Время завоеваний монгольских и верховного величия папы

Происхождение народов монгольских. Изображение средней Азии. Ее недоступность и влияние на обитавшие в ней народы. Первоначальная религия, образ жизни, характер, страсти монголов. Средства, давшие возможность Чингис-хану сделаться их верховным повелителем. Разлитие войск Чингис-хановых тремя полосами: одна обт<екает> Китай, Корею и касается Японии; другая протекает Россию и Польшу. Взгляд на тогдашнее состояние России, не имевшей возможности противиться им. Третия обращает в пепел цветущий юг Азии, овладевает Багдадом, Персией, Индией. Разделение огромного монгольского государства на многие, и причины кратковременности.

Обозрение всемирной монархии пап. Средства к увеличению власти их постоянством и мудростью. Деспотическое прав<ление> Иннокентия III. Введение новых положений в церковь и страшной инквизиции. Безжалостные поступки с европейскими владетелями. Намерение пап истребить весь швабский дом императоров, оказавших упорство. Войны гвельфов и джибелинов.

Ослабление феода<лизма>. В каком виде является Европа после крест<овых походов>. Венеция вдруг показывается перед глазами всей Европы сильнейшею своим богатством и всемирною торговлею и выводит за собою другие республики, Геную и Флоренцию. Остальная Италия – гнездилище заговоров, интриг, бунтов и от того образовавшийся хитрый, мстительный скрыт<ный> характер итальянцев. Города более или менее возвышаются торговлей. Вся морская торговля захвачена Венецией, сухопутная Ганзейским союзом, постоянно останавливая покушения быстро образовавшегося португальского <государства> перехватить торговлю.

Формы управления обрабатываются основательно в Германии. Государи мимо папского покровительства становятся сильнее, потому что получают мало-помалу непосредственное управление народом, благодаря крестовым походам,

истребившим множество сильных вассалов. Во Франции Филипп Август и Людовик кладут крепкое основание монархической власти; <она> возрастает вдруг до неограниченной власти волею странного и мудрого тирана Людовика XI, и совершает уничтожение феодализма. Испания освобождается совершенно от магометан и посредством браков совокупляется в одну монархию. Испанские властит<ели> глубокою религиозностью облекают свою власть и делают ее неограниченною. Австрийский дом тоже посредством браков усиливается и непомерно превышает прочих германских феодалов. Все сливается в крупные массы. Всеобщее усилие поднять граждан и унизить феодалов. В Англии парламент и депутаты. В<от> причины ослабления феодализма.

<Период II.> Время покушений на низвержение папского ига

Избрание разом двух пап, и раздоры от этого объемлют Европу и ослабляют всеобщее мнение. Университеты, алхимики и начало возрождающихся знаний быстро помогают тому и приготавливают Европу к всеобщему взрыву. Образ преподавания, влияние их на Европу. Алхимики. Влияние занятий их. Суеверие, раздуваемое нищенствующими монахами, их корыстолюбие и жадность. Первое негодование против них и против множества несправедливых положений. Богемия извергает первых реформаторов. Костры и мщение пап и следствия этого.

Николай Иванович Иваницкий:

На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однако ж, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж

на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор… Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко, и даже, можно сказать, незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уж было нельзя: он вошел на кафедру, и лекция началась…

Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках», кажется, под названием: «О характере истории средних веков». Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, но что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут. Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела.

Алексей Симонович Андреев *(1792–1863), воспитатель и преподаватель в училище правоведения в Петербурге (1835–*

1850):

Следующая лекция назначена через три дня. Собралось слушателей много, но вполовину меньше первой лекции. Гоголь взошел на кафедру и обратил речь на саксонцев, которых описывал одежду, вооружение и домашний быт, – и через полчаса объявил, что продолжать более не может, потому что приехали к нему родные и должны вскоре отъехать, а потому он прекращает лекцию, дабы воспользоваться их присутствием. Третья лекция отложена была на несколько дней, и как в продолжение первых двух лекций студенты спрашивали его об годах происшествий, которых он не знал, то и обещал доставить хронологию в эту лекцию, и действительно, принес с собою листок, на котором написаны были годы. При объявлении их студентам они ему заметили, что это они могут взять из книг. Он замолчал и сошел с кафедры.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 14 декабря 1834 г., из Петербурга:*

Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю вдаль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург.

Иван Сергеевич Тургенев:

Я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две, во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре – он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, – и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Николай Иванович Иваницкий:

Но вот однажды – это было в октябре – ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»…

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную… Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история. Так прошло время до мая.

Василий Васильевич Григорьев *(1816–1881), ориенталист, в 1860-х гг. – профессор Петербургского университета:*

Как ни плохи были вообще слушатели Гоголя, они, однако же, сразу поняли его несостоятельность. В таком положении оставался ему один исход – удивить фразами, заговорить; но это было не в натуре Гоголя, который нисколько не владел даром слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что после трех-четырех лекций студенты ходили в аудиторию к нему только затем уж, чтоб позабавиться над «маленько сказочным» языком преподавателя. Гоголь не мог этого не видеть, сам тотчас же сознал свою неспособность, охладел к делу и еле-еле дотянул до окончания учебного года, то являясь на лекцию с подвязанной щекой в свидетельство зубной боли, то пропуская их за тою же болью.

Николай Маркович Колмаков *(1816–1891(?)), слушатель Гоголя:*

Профессура Гоголя потерпела фиаско, и сам он начал хворать. Голова его, по случаю ли боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений. Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Читая из истории то одно, то другое, он всегда переходил к рассказу о движении народов. Ясно, что предмет этот служил ему как бы заручкой или опорою исторических его знаний.

Иван Сергеевич Тургенев:

На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли – с совершенно убитой физиономией – и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку.

Павел Васильевич Анненков:

Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий a priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества.

Александр Васильевич Никитенко *(1804–1877), писатель и цензор:*

Что же вышло? «Синица явилась зажечь море» – и только. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у меня и признался, что для университетских

чтений надо больше опытности.

Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в свою всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замечания попечителя, он должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и прочими членами университета, но в кругу «своих» он все тот же всезнающий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 6 декабря 1835 г., из Петербурга:*

Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня…

<…> Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия!

«Ревизор»

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*
Мысль «Ревизора» принадлежит Пушкину.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Пушкину 7 октября 1835 г.:*

Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее черта. Ради Бога. Ум и желудок мой оба голодают.

Владимир Александрович Соллогуб:

Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжине Новгородской губ., о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой Перовский предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом.

Павел Васильевич Анненков:

Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж, в кругу своих домашних, Пушкин говорил смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя».

Со слов **Александра Семеновича Данилевского:**

Пробыв у Максимовича два дня (в 1835 г., в Киеве. – Сост.), Гоголь с Данилевским принуждены были взять напрокат коляску, так как дилижансов тогда еще не существовало, и отправились из Киева в Москву, где Гоголь хотел повидаться с Погодиным и другими своими друзьями. Поездку они совершали втроем; к ним присоединился еще один из бывших нежинских лицеистов-

сотоварищей, Ив. Григ. Пащенко. Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», которым Гоголь был тогда усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду и встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось: «адъюнкт-профессор», что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта его императорского величества. Гоголь держал себя, конечно, как частный человек, но как будто из простого любопытства спрашивал: «Покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь лошади; я бы хотел посмотреть их» и проч.

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*

В Ревизоре я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем.

А. И. Вольф, *историк театра:*

Гоголю большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, кн. Вяземский, гр. Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть комедию.

Тимофей Григорьевич Пащенко:

Однажды к квартире Гоголя подъехала великолепная карета, посланная за ним одной высокопоставленной особой. Гоголя не было дома, – был в кружке своих друзей. Карета поехала туда; входит лакей, говорит, что карета приехала за г. Гоголем и что его ожидают. Услыша это, Гоголь сильно встревожился и сначала наотрез отказался ехать. Но тут уже все товарищи начали уговаривать его, чтобы ехал непременно и без всяких отговорок. «Да у меня и фрака здесь нет!» Нашли фрак и натянули на Гоголя: рукава оказались коротковаты, а фалды чересчур длинные… Снарядили наскоро как могли, и Гоголь поехал. У пригласившей Гоголя высокой особы он читал «Ревизора» в присутствии большого общества, генералов и других сановников. Говорили потом, что прочел он «Ревизора» неподражаемо. Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и с своей мимикой. Все слушатели много и от души смеялись, благодарили талантливого автора и превосходного чтеца за доставленное удовольствие, и Гоголь получил в подарок превосходные часы.

Николай Васильевич Гоголь:

Если бы сам Государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, «Ревизор» не был бы никогда игран или напечатан.

Петр Петрович Каратыгин:

В Великом посту 1836 г. при театре начались репетиции новой комедии, по слухам запрещенной цензурою, но дозволенной к представлению самим государем, по усердному ходатайству Жуковского. При ее чтении самим автором у Сосницкого, в присутствии артистов, которым предназначены были роли, <…> большинство артистов <…> пришло в какое-то недоумение. – «Что же это такое? – шептали слушатели друг другу по окончании чтения. – Разве это комедия? Читает-то он хорошо, но что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина – как есть простая баба, взятая с Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?» Так отнеслись к «Ревизору» первые исполнители этой комедии <…>. Но враждебные отношения артистов к произведению Гоголя сопровождались явлением крайне замечательным: два старейших актера обеих столичных сцен, Щепкин – московской и Сосницкий – петербургской, отнеслись к «Ревизору» с живейшим сочувствием. <…> По рассказам покойного П. А. Каратыгина, это было на утренней репетиции, в воскресенье

18 апреля 1836 г., т. е. накануне первого представления «Ревизора». Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса говорил с Сосницким, почти исключительно с ним, и лишь изредка с начальником репертуара А. И. Храповицким. Последний, пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожимал плечами. Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескромную веселость возбуждала не комедия, но ее автор.

Александр Иванович Храповицкий *(1787–1855), инспектор репертуара русской драматической труппы. Из дневника:*

19 апреля. – В первый раз «Ревизор». Оригинальная комедия в пяти действиях. Сочинение Н. Гоголя… Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пиеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно. Вызваны: автор, Сосницкий и Дюр.

Александра Осиповна Смирнова:

На спектакле государь был в эполетах, партер был ослепителен, весь в звездах и других орденах. Министры и П. Д. Киселев (вскоре – министр государственных имуществ) сидели в первом ряду. Они должны были аплодировать при аплодисментах государя, который держал обе руки на барьере ложи. Громко хохотали.

Петр Петрович Каратыгин:

Приехав неожиданно в театр, император Николай Павлович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, выходя из ложи, сказал: «Ну пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!»

Леонид Львович Леонидов *(1821–1889), актер-трагик:*

Государь (исполнением «Ревизора») был вполне доволен и велел благодарить артистов. Все отличившиеся получили от двора подарки, иные от дирекции прибавку к жалованью, а Петров, игравший Бобчинского и пользовавшийся за эту роль особою высокою милостью, получил совершенно неожиданно сюрприз. В антракте одного из балетов государь пожаловал на сцену и, заметив Петрова, вышедшего пофигурировать вперед, сказал: «А! Бобчинский! Так так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Бобчинский?» – «Точно так, ваше величество…» – отвечал тот бойко. – «Ну, хорошо, будем знать», – заключил государь, обратившись к другим присутствующим

на сцене.

Павел Васильевич Анненков:

Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать – что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, – большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «это – невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи Боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все…»

Александр Васильевич Никитенко. *Из дневника:*

(28 апреля 1836 г. – Сост.). Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Ее беспрестанно дают, почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня

с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Впереди меня, в креслах сидели князь Чернышев (военный министр) и граф Канкрин (министр финансов). Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу». Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело.

Николай Васильевич Гоголь. *Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору:*

…«Ревизор» сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно… Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала: так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде Альнаскарова, чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, – бледное лицо, в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме. Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость, и силы мои совладеть с этим характером были так слабы, что даже и тени, и намека в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. <…> И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно.

С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, – и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила – по причинам, однако ж, не относящимся к искусству.

<…> Вообще с публикою, кажется, совершенно примирил «Ревизора» городничий. В этом я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. <…> На слугу тоже надеялся,

потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато оба наши приятели, Бобчинский и Добчинский, вышли сверх ожидания дурны. Хотя я и думал, что они будут дурны, ибо, создавая этих двух маленьких человечков, я воображал в их коже Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думал, что их наружность и положение, в котором они находятся, их как-нибудь вынесет и не так обкарикатурит. Сделалось напротив: вышла именно карикатура. Уже пред началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и бессовестно карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб сделать хоть одну репетицию в костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали немного, я оставил их в покое. Еще раз повторяю: тоска, тоска. Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска.

<…> Во время представления я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тот же час принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере естественнее, и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то бог с ним, – пусть лучше при втором издании или возобновлении «Ревизора». <…>

Но у меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми. Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда <…>.

Петр Андреевич Вяземский *(1792–1878), поэт, литературный критик, друг и литературный соратник Пушкина, сотрудник пушкинского журнала «Современник»:*

«Ревизор» имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздавшийся после в повсеместных

разговорах, – ни в чем не было недостатка.

Владимир Васильевич Стасов *(1824–1906), художественный, музыкальный и театральный критик:*

Вся тогдашняя молодежь была от «Ревизора» в восторге. Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше.

Иван Иванович Панаев:

Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене, по случаю приезда Гоголя в Москву (осенью 1839 г. – Сост.).

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он. Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя…

– Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. – восклицал Николай Филиппыч Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо…

– Оставьте меня в покое, – отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

– За что же сердиться? Я желаю вам добра… Вот, – продолжал он, обращаясь ко мне, – Константин Сергеич на меня сердится

за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью… В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре».

Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все Богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора…

Сергей Тимофеевич Аксаков:

26-го ноября (1839 г., в Петербурге. – Сост.) давали «Ревизора». У нас было два бельэтажа, но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру. Сосницкий сначала был недурен; много было естественности и правды в его игре; слышно было, что Гоголь сам два раза читал ему «Ревизора», он перенял кое-что и еще не забыл; но как скоро дошло до волнений духа, до страсти, говоря по-театральному, – Сосницкий сделался невыносимым ломакой, балаганным паясом.

Лев Иванович Арнольди:

В другой раз (осенью 1851 г. – Сост.) я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают «Ревизора», и что Шумский в первый раз играет в его комедии роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передавал эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценой, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, а он желал представить в Хлестакове человека, который рассказывает небылицы с жаром, с увлечением, который сам не знает, каким образом слова вылетают у него изо рта, который, в ту минуту как лжет, не думает вовсе, что он лжет, а просто рассказывает то, что грезится ему постоянно, чего он желал бы достигнуть, и рассказывает как будто эти грезы его воображения сделались уже действительностию, но иногда в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами, и он от посланников, от управления

департаментом, от приемной залы переходит, сам того не замечая, на пятый этаж, к кухарке Марфуше. «Хлестаков, это – живчик, – говорил Гоголь, – он все должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его слова и действия будут приняты другими». Вообще комедия в этот раз была разыграна превосходно. Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики и, может быть, – вызовов, и после вышеописанной сцены вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия. Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающим, по обыкновению, теплую воду с сахаром и красным вином. Тут он и передал мне свое мнение об игре Шумского, которого талант он ставил очень высоко.

Иван Сергеевич Тургенев:

За неделю до того дня (20 октября 1851 г. – Сост.) я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною <Е. М.> Ф<еоктистов>. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол.

Николай Васильевич Берг:

Раз я видел Гоголя в Большом московском театре, во время представления «Ревизора». Хлестакова играл Шумский; городничего – Щепкин. Гоголь сидел в первом ряду, против середины сцены, слушал внимательно и раз или два хлопнул. Обыкновенно (как я слышал от его друзей) он бывал не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не признавал вполне разрешившим задачу. Шумского чуть ли не находил он лучшим. Щепкин играл в его пьесах, по его мнению, хорошо.

Европейские странствия и впечатления

Григорий Петрович Данилевский. *Из беседы с матерью Гоголя:*

– Ваш сын долго отсутствовал за границей?

– Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.

Михаил Петрович Погодин:

По дорогам ехать с ним – новые хлопоты и досады. <…> Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас – не дает, да и только; начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его, императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест[13], но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо: «Signore, passaporti!» Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь – представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: «На тебе паспорт, ешь его!» – и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их, и никто более.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма сестрам А. В. и Е. В. Гоголь 17 июля 1836 г., из Ахена:*

Простившись с вами, я тотчас выехал из Петербурга. Выехал я на пароходе. Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход, потому что он, кажется, никогда не прогуливался перед вашими окнами. Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан как трубочист, но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. Я думаю, вам показалось бы очень странно ехать на корабле. Вообразите, что кругом вас одно море, – море, и больше ничего нет. Вы верно бы

соскучились, но у нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды, одна из них, m-me Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря. Вы верно знаете, что на пароходе внизу есть прекрасная зала, как будто в доме, и у каждого из нас небольшая комната, никак не больше ореховой скорлупы. Мы плыли, плыли и наконец чрез неделю пристали к берегу, где увидели все новое: город выстроен не так, как у нас, люди не говорят совсем по-русски, словом – мы были в чужой земле. Улицы узенькие, есть даже такие, что можно из окошка протянуть руку и пожать руку того, который живет против вас. Домики маленькие, но зато чрезвычайно высокие, есть в шесть и семь этажей. Пообедавши в городе Любеке, я отправился в Гамбург. Гамбург прекрасный город, и жить в нем очень весело. Там есть одна набережная, которая называется Jungfernsteig, на которой такая гибель гуляющих, что упасть некуда, по ней везде павильоны, в которых беспрестанно играет музыка; за городом тоже очень много мест, где собираются гуляющие слушать музыку и обедать. Лавок и магазинов страшное множество, и в них так много прекрасных вещей, и все очень дешево. <…> Я был в театре, который дается в саду на открытом воздухе. Вы бы верно смеялись, если бы посидели там. Немцев чрезвычайное множество приходит смотреть, а немки приходят сюда со всем хозяйством, ставят перед собою рабочий столик тут же в креслах и ложах, и все, сколько ни есть, вяжут чулок во все продолжение представления. Я был и на бале. Дам немного, но мужчин чрезвычайное множество и с усами и без усов. Больше всего – англичане. Англичанин есть человек довольно высокого роста, который садится всегда довольно свободно, поворотившись спиною к даме и положивши одну ногу на другую. Ах, я расскажу вам один пресмешной бал, на который попал я случаем! Гуляя за городом, я увидел один дом, довольно большой и великолепно освещенный. Музыка и толпа народа заставила и меня войти. Зал огромный, люстры, и освещения много, но меня удивило, что танцующие одеты, как сапожники, в чем ни попало. Вы бы умерли со смеху. Танцевали вальс. Такого вальса вы еще в жизни не видывали: один ворочает даму свою в одну сторону, другой в другую. Иные, просто взявшись за руки, даже не кружатся, но, уставив один другому глаза, как козлы, прыгают по комнате, не разбирая, в такт ли это или нет. После я узнал, что это был знаменитый матросский бал.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 17 июля 1836 г., из Ахена:*

В Гамбурге я прожил неделю. Выехал не помню какого числа. Думал прежде взять дорогу на Голландию. Это было бы несравненно приятнее; но не всегда имеется в запасе возможность удовлетворить нашему желанию. Эта дорога заняла бы у меня очень много времени. Итак, я решился <ехать> сухим путем чрез Бремен, Оснабрюк и Дюссельдорф. Места мало чем лучше наших. Примечательного мало. В Бремене заглянул в погреба, где покоится знаменитый рейнвейн несколько сот лет, который не продается за деньги, но отпускается только опасным больным и знаменитым путешественникам. Так как я не принадлежу ни к тем ни к другим, то и не беспокоил моими просьбами граждан города Бремена, которые решают дела такого рода в собрании [публичном собрании] сената. Видел там же старинный катедраль (соборную церковь) и подвал, имеющий силу сохранять тела нетленными. Тел около 15; все они лежат в гробах; под ними даже простыни не истлели. Немцы обращаются с ними без всякого уважения, подымают их и бросают на места их. В Минстере я видел только наружность прекрасных готических церквей. В Дюссельдорфе только остановился позавтракать. Это город уже не старинный, но совершенно новый и столица нижнерейнских провинций. В один день почти я медленною немецкою ездою переехал земли мекленбургские, ганноверские, прусские и датские. Наконец неделю назад, как приехал я в Ахен (Aix la Chapelle).

Ахен, один из самых старинных городов, лежит в долине и виден весь, как на ладоне, если взойти на одну из окружающих его гор. Вид его издали очень хорош, но вблизи ничто не поразит сильно, выключая разве только вони. Все ванны находятся внутри самого города в гостиницах, так что вы, живя в городе, не будете знать, где они. Во многих домах минеральные воды проведены подземными трубами. Только за городом можно встретить источники в натуральном виде, в виде маленького ручейка, от которого клубится горячий пар. На водах здешних ведут жизнь самую скучную, потому что все воды находятся в городе, а не за городом, как в других местах. Оттого все почти отделены друг от друга. Притом сюда приезжают только старики и уже слишком больные. Воды здешние очень сильны. Так как я чувствую себя совершенно здоровым, то и не намерен брать. В Ахене находится прекрасный старинный катедраль в готическом вкусе. Окна идут от земли до самого верха. Вся церковь светла, как оранжерея. Здесь хранится стул Карла Великого, на котором он погребен сидящим.

Александр Семенович Данилевский:

Ахен, где мы проскучали несколько дней, обильно, но плохо обедали в нарядных гостиницах, задыхались от пыли на гулянье, понятно, оставил в Гоголе не особенно приятное впечатление.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 17 июля 1836 г., из Ахена:*

Из Ахена отправляюсь в Кельн, старинный и очень примечательный город, в котором катедраль считается первым в Европе по своей архитектуре. Из Кельна предстоит мне самое приятное путешествие на пароходе по реке Рейну. Это совершенная картинная галерея: с обеих сторон города, горы, утесы, деревни, словом – виды, которых даже на эстампах вы редко встречали. Очень жаль, что вы не можете видеть всего этого. Когда-нибудь, под старость лет, когда поправятся и ваши и мои обстоятельства, отправимся мы поглядеть на это.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 26 июля 1836 г., из Франкфурта:*

Получили ли вы письмо мое из Ахена? С того времени множество городов, больших и малых, мелькнуло мимо меня, и едва припомнить имена их. Только путешествие по Рейну осталось несколько в моей памяти. Река Рейн – очень замечательная вещь в Германии. Она уставлена с обеих сторон горами и усыпана городами. Два дня шел пароход наш, и беспрестанные виды наконец надоели мне. Глаза устают совершенно, как в панораме или в картине. Перед окнами вашей каюты один за другим проходят города, утесы, горы и старые рыцарские развалившиеся замки. Очень многие из них картинны и до сих пор еще прекрасны. Все горы, которые состоят почти из голого камня, покрыты виноградными грядками. Это родина рейнвейна, кроме которого здесь почти не употребляют других вин и которого здесь множество сортов, из коих многие никогда не заходили к нам. В Майнце, большом и старинном городе, вышел я на берег, не остановился ни минуты, хотя город очень стоил того, чтобы посмотреть его, и сел в дилижанс до Франкфурта.

Франкфурт называют Парижем Германии. Он, точно, шумен и наполнен иностранцами, съезжающимися со всех сторон – Парижа, Лондона, Петербурга, Италии и проч. Город очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом. Летом он бывает не так весел, как зимою, потому что зимою остаются в нем жить и нарочно съезжаются для этого, а летом разъезжаются на воды, которых в окружности находится чрезвычайное множество. Я не могу

до сих пор выбраться из минеральных вод; проехал Ахен – теперь пошли другие: Крейценах, Баден-Баден, Эмские, Висбаденские, Швальцбахские, Ланген-швальбахские, словом – несчетное множество. Во Франкфурте очень хорошо дают оперу. Оркестр франкфуртский один из первых в Европе. Не знаю, просил ли я вас адресовать ко мне письма во Франкфурт или нет. Если просил, то теперь прошу опять переменить адрес и писать в Лозанну, в Швейцарии, куда я на следующей неделе полагаю быть.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 14 августа 1836 г.:*

Теперь я живу на знаменитых водах баден-баденских, куда заехал только на три дня и откуда уже три недели не могу выбраться. Встретил довольно знакомых. Больных сурьезно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться. Местоположение города чудесно. Он построен на стене горы и сдавлен со всех сторон горами. Магазины, зала для балов, театр – все в саду. В комнату здесь никто почти не заходит, но весь день сидят за столиками под деревьями. Горы почти лилового цвета даже изблизи. Между гостями есть много известных европейских лиц. Мест для гулянья в окружности страшное множество; но на меня такая напала лень, что никак не могу приневолить себя все обсмотреть. Каждый раз собираюсь пораньше встать и всегда почти просплю. Лето здесь хорошо. Слишком жарких дней нет.

Оканчиваю письмо уже в Раштадте, который находится в нескольких милях от Бадена. Завтра сажусь в дилижанс и буду через двое суток, а может быть и раньше, в Берне, где уже горы с снежными вершинами.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 23 августа 1836 г., из Женевы:*

Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву. Альпийские горы везде почти сопровождали меня. Ничего лучшего я не видывал. Из-за синих гор вдали показываются ледяные и снеговые вершины Альп. Во время захождения солнца снега Альп покрываются тонким розовым и огненным светом. Часто, когда солнце уже совсем скроется и все уже темно, все блестит, горы покрыты темным светом, Альпы одни сияют на небе как будто транспарантные. Передо мной Женевское озеро, которого воды кажутся бирюзового цвета, и Рона, которая здесь сливается с озером. Женева очень хороший город и называется уголком Парижа. Язык французский здесь

самый чистый. Костюмы поселянок швейцарских так хороши, как вы себе вообразить не можете. В каждом кантоне или республике они переменяются. Совершенные картинки! Дороги везде почти живописны.

В Италии я вряд ли буду в этом году, я думаю, что останусь всю осень и начало зимы в Женеве, если не поеду в Париж. Зимы здесь везде почти дурны, то есть они довольно теплы, но домы очень холодны. Печей нет: камины очень худы. Но впрочем, в нынешнем году все предвещают теплую зиму.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 21 сентября 1836 г., из Лозанны:*

Я еще ничего не знаю о том, где я проведу конец осени. Теперь я еду в Веве, маленький городок недалеко от Лозанны. В этом городе съезжаются путешественники, и особенно русские, с тем, чтобы пользоваться виноградным лечением. Этот образ лечения для вас, верно, покажется странным. Больные едят виноград и ничего больше кроме винограду. В день съедают по нескольку фунтов, наблюдают диэту, и после этого виноград, говорят, так сделается противен, что смотреть не захочется. Я еду с тем, чтобы повидаться с некоторыми знакомыми и посмотреть городок, который хотя очень невелик, но занимает одно из лучших мест Швейцарии.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 6 октября 1836 г.:*

Я в Женеве не более как на один день, по дороге. Таскался по горам и возвращаюсь уже назад. Видов такая бездна и таких великолепных, что писать в письме о них нет возможности. До сих пор, во все время путешествия моего, облака были под моими ногами. Четыре дня нужно для того, чтобы взойти на верхушку Монблана, одной из высочайших гор. Другие горы, тоже ужасной величины, служат ей ступенями. Они все покрыты лесом, за ними следуют покрытые кустарниками, потом начинается, там где оканчивается их верхушка, Монблан, который также начинается кустарниками, еще выше растет на нем одна дикая трава, наконец, когда поднимешься еще выше, один мох и потом прекращаются все произрастения, начинаются снега, и вы совершенно очутитесь среди зимы. Перед вами снега, над вами снега, вокруг вас снега, внизу земли <нет>, вы видите вместо нее в несколько рядов облака. Целые ледяные стены, сквозь которые просвечивает солнце, висят вокруг. Иногда слышатся трещины с таким сильным звуком, как удар грома, и потом целая лавина летит вниз, – и сверху слышен весь гром,

который она производит, катаясь по горам и низвергаясь в долину. Здешние проводники так знают время, когда лавина должна упасть, что скажут вам даже минуту. Дождь и гром – все это у вас под ногами, а наверху солнце. Когда я был внизу, была дождливая погода, которая продолжалась несколько дней; когда я наконец поднялся выше дальних облаков, солнце светило и день был совершенно ясен, только было холодно, и легкий мороз сверкал светлыми искрами на снегу, и я, вместо легкого сертука, надел теплый плащ; спускаясь вниз, делалось теплее и теплее, наконец облака проходили мимо, наконец спряталось солнце, наконец я опять очутился среди дождя, должен был взять зонтик и уже таким образом спустился в долину.

Какова у вас осень? Здесь теперь снова начались теплые дни, как летом, и спешу в Веве опять воспользоваться ими, потому что там климат гораздо лучше, нежели в Женеве. Здесь на одном и том же озере один город имеет климат не теплее нашего полтавского, а другой тут же в каких-нибудь в пятидесяти верстах от него теплее Одессы. Здесь можно беспрестанно любоваться костюмами швейцарок. Почти в каждом городе все розные и все так хороши и так ловко сидят на них, как на картинках. Вчера я был в Фернее и посетил Волтера. Видел его дворец, куда приезжали короли и принцы. К нему ведет прекрасная каштановая аллея в три ряда. Перед домом маленькая церковь, с надписью: *Волтер Богу!* Комнаты его в том же виде. В спальне его перестлана даже кровать с тем же самым одеялом, которым он укрывался, которому уже почти сто лет. Те же картины висят. Путешественники до сих пор стекаются толпами. Сад прекрасен, тени много; на одной стороне его сделана из подстриженных деревьев стена с арками. Сквозь эти арки виден вдали Монблан, синеющие горы Савойские, деревни и мызы.

Женева хотя велик и хорош город и можно в нем провести время веселее, нежели в других окружных местах, но не по мне, ветров много и слишком ощутительна сырость в воздухе.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 12 ноября 1836 г., из Парижа:*

Пропитавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтера Скотта. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве. <…> Сначала было мне в Веве несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел

местами ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шиль<онского> узник<а>» (Байрона и Жуковского. – Сост.), впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев – внизу последней колонны, которая в тени: когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин. <…>

Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвые души», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. <…> Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые дома, мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня приходившего к вам, и брали меня за руку, и были рады моему приходу… И мне сделалось страшно скучно. Меня не веселили мои «Мертвые души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя; увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии. Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать.

Александр Семенович Данилевский:

Первое время после того, как мы расстались и встретились снова в Париже, я узнал в нем прежнего Гоголя. В Париже он не поехал в гостиницу, а прямо ко мне. Потом взял номер в гостинице, но там мерз, потому что не было печей, а были камины. Мы хотели найти теплую квартиру и поселились на углу Place de la Bourse и Rue Vivienne; в этом доме мы нашли, наконец, печь. Здесь Гоголь писал «Мертвые души». Я к нему не заглядывал, потому что он был постоянно занят; только по вечерам мы часто собирались в театр.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери, ноябрь*

1836 г., из Парижа:

Вчера я был в Лувровской картинной галерее во второй уже раз и все насилу мог выйти. Картины здесь собрались лучшие со всего света. Был на прошлой неделе в известном саду (Jardin des plantes), где собраны все редкие растения со всего света и все на вольном воздухе. Слоны, верблюды, строусы и обезьяны ходят там, как у себя дома. Это первое заведение в этом роде в мире. Кедры растут там такие толстые, как только в сказке говорится. Для всех зверей и птиц особенный даже павильон и беседки, и у каждого из этих обитателей свой садик. Весь Париж наполнен теперь музыкантами, певцами, живописцами, артистами и художниками всех родов. Улицы все освещены газом. Многие из них сделаны галереями, освещены сверху стеклами. Полы в них мраморные и так хороши, что можно танцовать.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Я. Прокоповичу 25 января 1837 г., из Парижа:*

Я был не так давно в Théâtre Français, где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пиэсы «Тартюф» и «Мнимый больной». Обе были очень хорошо играны, по крайней мере в сравнении с тем, как играются они у нас. Каждый год Théâtre Français торжествует день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пиэсы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он и где он слышит это?.. Видел в трех пиэсах M-lle Mars. Ей 60 лет. В одной пиэсе играла она 18-летнюю девицу. Немножко смешно было сначала, но потом в других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонической, и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю. Все просто, живо; очищенная натура, в местах патетических тоже слова исходят прямо из глубоко тронутой души; ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars. Актеров много, очень много хороших. На каждом театре есть два или три своих корифея. Видел наследника Тальмы Ligier. Среднего росту, пожилых лет человек, бегает по сцене довольно свободно, как дома, не складывает рук крестом и не глядит из-за плеча. Пиэс, где герой является идеалом физической силы, он, как кажется, избегает. Я его не видел, по крайней мере, никогда ни в старых трагедиях, ни в новых драмах, где герои сильно страдают и много беснуются. Играл он Людовика XI в пиэсе Делавиня, и, кажется, вряд ли

Делавиню так написать, как Ligier играл. Он был даже смешон – до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной, был очень занимателен для зрителя. В пиэсах Мольера старики, дяди, опекуны и отцы играются очень хорошо, плуты-слуги тоже прекрасно. Если бы собрать с каждого из здешних театров по три первых персонажа, то можно бы таким образом обставить пиэсу, как только может себе составить идею один комик или трагик. Театры все устроены прекрасно. Они не имеют великолепных наружных фасадов, но внутри все как следует. От первого до последнего слова слышно и видно всем. Балеты становятся с такою роскошью, как в сказках; особливо костюмы необыкновенно хороши, с страшною историческою точностью. Сколько прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются на мелочи; само собою, что при этом ускользает много крупного. Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки. Далеко Гедеонову до Петрова дни, хотя ему и значительно помогает в украшении декораций Федор Андреевич. Тальони – воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене. Впрочем, здесь около десяти есть таких танцовщиц, или солисток, перед которыми Пейсар – Пащенко. Скажи Жюлю: как, право, не совестно ему жить с мамзель Жорж. Ведь ей 67 лет. Да притом видно, что она только красотой своей брала. Игра ее очень монотонна и часто напыщенна. Впрочем, говорят, что ее нужно видеть только в старых трагедиях, которых, однако ж, не играют вовсе на том театре, где она теперь находится. Играет она в театре Porte St. Martin, где играются только одни новые драмы и мелодрамы и где зрители шумят больше, нежели на всех других театрах. Всякой почти раз в партере произойдет какая-нибудь комедия или даже и водевиль, если у зрителей хорош голос. Тогда актеры делаются зрителями: сначала слушают, а потом уходят со сцены, занавес опускается, музыка начинает играть, и пиэсу начинают снова. Народ очень любит драмы и особливо партия республиканская. Это народ сумрачный, аплодирует редко. Прочие ходят в водевиль, среднее сословие – в театр Variétés или в театр Палерояль (лучшие водевильные театры!). Знать, как бывает всегда, корчит меломанов и ходит в Итальянскую или в Большую оперу (на французском диалекте), где конопатят до сих пор еще «Гугенотов» и «Роберта», ударяя в медные горшки и тазы сколько есть духу; или иногда в Opéra Comique (французскую оперу). Но бог с ними, со всеми этими операми, водевилями и комедиями!

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 15 февраля 1837 г., из Парижа:*

Теперь в Париже самое шумное время – карнавал: балы за балами, спектакли великолепные. В последний день карнавала было такое множество народа, какого я никогда еще не видывал. Все бульвары, проходящие с одного конца до другого весь Париж, были завалены народом; целые экипажи наполнены были масками. Маски разных наций и костюмов перебегали беспрестанно по улицам. Впрочем, и до сих пор, хотя вчера уже начался пост, ни балы, ни маскарады не прекратились. Мне хочется Светлый праздник встретить в Риме и быть в церкви Святого Петра, где должен служить сам папа, и потому вы можете теперь адресовать ко мне письма в Рим, poste restante.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 28 марта 1837 г., из Рима:*

Переезд мой в Италию или, лучше, в самый Рим затянулся почти на три недели. Ехал я морем и землею с задержками и остановками, но, несмотря на все это, поспел как раз к Празднику. Обедню прослушал в церкве Святого Петра, которую отправлял сам папа. Он 60 лет и внесен был на великолепных носилках с балдахином. Несколько раз носильщики должны были останавливаться посреди церкви, потому что папа чувствовал головокружение. Церковь же Петра так огромна, что будет в длину около полверсты. Съезд в Риме был огромный. Народу несколько тысяч стояло в церкве, но она, при всем том, все еще казалась пуста. <…>

Я успел осмотреть только часть древностей и развалин, которых на каждом шагу – много, и часто так случается, что в новый дом вделана часть развалины, кусок стены, или колонна, или рельеф. – Я не смотрел еще ни картинных галерей, ни множества разных дворцов, где смотреть станет на целый год. Вся земля пахнет и дышит художниками и картинами. Мозаики и антики продаются кучами. Школы живописи и скульптуры на улице почти у каждых дверей. До Рима я успел еще побывать, кроме многих других, в двух знаменитых городах, в Генуе и Флоренции. Генуя великолепна, множество домов больше похожи на дворцы и украшены картинами лучших итальянских художников, но зато улицы есть так узеньки, что двум человекам нельзя пройти в ряд. Впрочем, они выложены мраморными плитами и очень чисты.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Я. Прокоповичу*

30 марта 1837 г., из Рима:

Что тебе сказать об Италии? Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими. О тумане и не слышно.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 15 апреля 1837 г., из Рима:*

Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 15 июня 1837 г., из Турина:*

Пишу и теперь к вам из столицы короля Сардинского, которая не уступает в великолепии прочим. Славится правильностью своих улиц, опрятностью, регулярностью и чистотою домов. Природа уже теряет здесь чисто италианский характер. На место кипарисов – тополи; на место кактусов, маслиничных дерев, миндальных и лимонных чаще попадается более обыкновенных дерев. Словом, это переход от Италии к Швейцарии, и завтра же я увижу опять места и горы, которые видел прошлый год. В Бадене я опять проживу недели две или три и, может быть, возьму тамошних вод. Все же таки нужно когда-нибудь отведать, что такое минеральные воды.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. О. Балабиной 16 июля 1837 г., из Баден-Бадена:*

Я думал, что природа Италии – странная – греческо-римская архитектура с колоннами, плоскими куполами, плоскими архитравами. Природа Швейцарии сумрачная, архитектура готическая с углообразными сводами, летящими в небо остроконечными шпицами, величавая, вдыхающая беспредельные мысли; что природа Италии действует на чувство, а Швейцария – на мысль и прочие пустяки; я думал, стараясь себя уверить, что мне так же будет приятно взглянуть на Швейцарию после Италии,

как после Колизея взглянуть на кельнский катедраль, как после прекрасно сготовленного обеда прочесть стихи Пушкина. Оттого ли, что я ехал чрез пустынную Савою, видел обнаженные ребра скал, покрытые тощими кустарниками и остроконечными соснами, похожими на наши северные, только мне показалась Швейцария в это время Сибирью. Если бы я видел долины Шамуни или Юнгфрау, я уверен, что мои впечатления были бы другие. Душа бы почувствовала сладкий трепет и священный ужас, глаза бы с наслаждением окунулись в страшно-прекрасных пропастях, подле которых, как мелкая трава, растут леса и царапаются по камням сосны и брызжут водопады, и мысль бы моя, как царь, облетела от снеговых белоянтарно-розовых вершин Альп в темные ущелья и зеленые долины. Дикое и вместе высокое наслаждение! <…>

Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи «прощай» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Мне кажется, уже душа не в силах будет наслаждаться прекрасным видом какого-нибудь места, – она будет помнить лучшее и уже ничто не в силах из нее выгнать его. Те горы, которые казались мне голубыми до Италии, теперь кажутся серыми. Воздуха нет, этого прозрачного, транспарантного воздуха. Солнце здесь не любит так земли и людей, как в Италии. Там оно дает им какой-то радушный, сверкающий колорит. Словом, Европа в сравнении с Италией все равно, что день пасмурный в сравнении с днем солнечным. Я вам советовал бы сделать вот что: прожить в Италии лишнюю неделю и пробежать всю Европу вдруг, как можно скорее, не останавливаясь нигде. Пусть все мелькнет перед вами, как в фантастическом сне. Тогда это будет иметь свое достоинство и в быстроте, может быть, покажется приятным. Ни за что не решился бы остаться на житье в середине Европы; мне в этом случае противна середина.

Александра Осиповна Смирнова:

Лето 1837 года я провела в Бадене, и Гоголь приехал не лечиться, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались почти каждое утро. Он ходил, или, лучше сказать, бродил, один, потому что иногда был на дорожке, а чаще гулял зигзагами на лугу у Стефании-бад. Часто он так был задумчив, что я долго, долго его звала; обыкновенно он отказывался со мной гулять, приводя самые странные причины. Его, кроме Карамзина (сына историка), из русских никто не знал, и один господин высшего круга мне сказал, встретив меня с ним: «Вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона».

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. М. Смирнову 3 сентября 1837 г., из Франкфурта:*

Пароход доставил мне приятный сюрприз – ехать вместо одного дни два. Дождь, верный спутник рейнского путешествия, усугубил приятность. Все пассажиры столпились в одну каюту, и немецкой запах сделался до такой степени густ, что можно было 700 топоров повесить в воздухе. Круглые окна нашей каюты до такой степени визжали и обливались слезами, что тоска проходила меня насквозь от головы и до пяток. А мокрые зонтики, сальные сапоги и всеобщий насморк доныне мне грезятся. Наконец я доехал до Франкфурта и вот уже три дня любуюсь гнуснейшею погодою, какая когда-либо была в мире, и пошлыми физиогномиями жидов. Ибо вам, я думаю, уже известно, что Франкфурт страшно пахнет жидом, включая в то число немцев.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 30 октября 1837 г., из Рима:*

Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо, и я восхищался ими даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию. Но теперь, когда я побывал в них после Италии, низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами, и мне кажется, как будто я был в Олонецкой губернии и слышал медвежее дыхание северного океана.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 2 ноября 1837 г., из Рима:*

Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства – все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Божеству.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 24 ноября 1837 г., из Милана:*

Я пробыл в Женеве больше, нежели думал. <…> При всем том мысль увидеть Италию опять вновь произвела то, что я

бросил Швейцарию, как узник бросает темницу. Я избрал на этот раз другую дорогу, сухим путем, через Альпы, самую живописную, какую только мне удалось видеть. Громады гор безобразных, диких неслись во всю дорогу, мимо окон нашего дилижанса, мелькали водопады, шумящие, состоявшие из водяной пыли. Половину суток все подымались мы на Семплон, одну еще не из самых высоких гор, дорога наша кружилась по горе в виду целых цепей других гор. Стремнины страшные становились глубже и глубже с правой стороны дороги. Все очутилось внизу, те горы, на которых взглянуть было трудно, как говорится, не уронивши с головы шапки, казались теперь малютками, скалы, утесы, водопады – все было под нашими ногами. Дорога наша проходила часто насквозь скалу, сквозь просеченный в ее каменной массе коридор. Часто висел над нами натуральный свод. Часто мы проезжали сквозь искусственную длинную каменную галерею, потому что без нее дорога была бы занесена снегом. И встретивши таким образом на вершине Семплона около 20 градусов морозу, мы наконец начали спускаться вниз быстро, мимо скал, мимо водопадов. Ничего вы не можете себе представить живописнее. На картинах вы не видали ничего подобного. Уже бросили сани, взяли и карету, и все летели с быстротою по кружащим дорогам, окруженным картинными горами. Меньше нежели в три часа спустились мы с тех гор, на которые подымались около суток, и климат к концу так изменился, что вместо морозу было около 12 градусов теплоты. Расстилавшиеся вдали долины Италии представляли удивительно какой вид! Наконец минувши знаменитое Большое озеро с его прекрасными островами; может быть, вы слышали про Изолубеллу, один из островов, который состоит из девяти этажей, из террас, дворцов и всех возможных растений в мире. Минувши несколько городов уже совершенно италианских, я прибыл в Милан. Он велик, может быть, больше всех других в Италии по населенности, похож несколько на Париж. Но что более всего поражает вид – это катедрал, по-нашему собор. Вообразите себе огромнейшую массу, всю из мрамора, всю из статуй, из резных украшений, похожую на кружево. Театр миланский по величине первый в мире после неаполитанского. Картинная галерея по обыкновению всех италианских городов прекрасная и станет на несколько дней ее глядеть.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 2 февраля 1838 г., из Рима:*

Теперь время карнавала: Рим гуляет напропало. Удивительное явление в Италии карнавал, а особенно в Риме, –

все, что ни есть, все на улице, все в масках. У которого же нет никакой возможности нарядиться, тот выворотит тулуп или вымажет рожу сажею. Целые деревья и цветники ездят по улицам, часто протащится телега вся в листьях и гирляндах, колеса убраны листьями и ветвями и, обращаясь, производят удивительный эффект, а в повозке сидит поезд совершенно во вкусе древних Церериных празднеств или той картины, которую написал Роберт. На Корсо совершенный снег от бросаемой муки. Я слышал о конфетти, никак не думал, чтобы это было так хорошо. Вообрази, что ты можешь высыпать в лицо самой хорошенькой целый мешок муки, хоть будь это Боргези, и она не рассердится, а отплатит тебе тем же. Франты и джентельмены издерживаются по нескольку сот скуд на одну муку. Экипажи все решительно маскированы. Слуги, кучера – все в маскарадном платье. В других местах один только народ кутит и маскируется. Здесь все мешается вместе. Вольность удивительная, от которой бы ты, верно, пришел в восторг. Можешь говорить и давать цветы решительно какой угодно. Даже можешь забраться в коляску и усесться между ними. Коляски все едут шагом. И оттого часто забиаки, забравшись на балкон, имеют возможность целые четверть часа валять горстями и ведрами мучные шарики на сидящих в колясках, большею частию на дам, которым и больно и смешно, и они только что закрывают очень мило рукою глаза и вытирают лицо. Для интриг время удивительно счастливое. При мне завязано множество историй самых романтических с некоторыми моими знакомыми и даже в том числе с некоторыми нашими художниками (разумеется, только не с Дурновым). Все красавицы Рима всплыли теперь наверх, их такое теперь множество, и откуда они взялись, один Бог знает.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма матери 30 июля 1838 г., из Неаполя:*

Вид Неаполя, как вы, я думаю, знаете из описаний и рассказов, удивительный. Передо мною море, голубое как небо, лиловые и розовые горы с городами вокруг его. Предо мною Везувий. Он теперь выбрасывает пламя и дым. Спектакль удивительный! Вообразите себе огромнейший феерверк, который не перестает ни на минуту. Давно уже он не выбрасывал столько огня и дыма. Ожидают извержения. Громы, выстрелы и летящие из глубины его раскаленные красные камни, все это – прелесть! Еще четыре дня назад можно было подыматься на самую его вершину и смотреть в его ужасное отверстие. Теперь нельзя. Доходят только до половины; далее чувствуется слишком

большой жар и опасно от летящих камней.

Место, где я живу, в сорока верстах от него в расстоянии. Но он совершенно кажется близок, и, кажется, к нему нет и двух верст. Это происходит от воздуха, который так здесь чист и тонок, что все совершенно видно вдали. Небо здесь ясно и светло-голубого цвета, но такого яркого, что нельзя найти краски, чтобы нарисовать его. Все светло. Свет от солнца необыкновенный. Кажется, здесь совсем нет теней. Весь Неаполь и все города, которые попадаются в этой стороне Италии, без крыш. Домы вам покажутся или недостроенными, или погоревшими. Вместо крыши гладкая платформа, на которой по вечерам здесь имеют обыкновение сидеть, наслаждаясь видом залива, Везувия, неба и удивительных окрестностей. На днях я сделал маленькую поездку по морю, на большой лодке, к некоторым островам, и между прочим посетил знаменитый голубой грот на острове Капри. Мы въехали в дыру, прорытую в скале, никак не шире узенькой лодки. Въехали мы туда на лодочках, нагнувши свои головы, и очутились вдруг под огромным и широким сводом. Все пространство под этим сводом было покрыто лодками. Темнота порядочная, но воды ярко, ярко голубые и казались освещенными снизу каким-то голубым огнем. Эффект был удивительный. Несколько плавающих и кричащих моряков и лазарони (так называются обитатели Неаполя, народ, который лежит нагишом весь день на улице и, лежа, глотает макароны длины непомерной) оживляли эту картину. Скалы и утесы здесь картинны. Их такое множество. Но мне жизнь в Риме нравится лучше, чем в Неаполе, несмотря на то, что здесь гораздо шумнее.

Александра Осиповна Смирнова:

О Париже мало было речи, он уже тогда не любил его. Он, однако, посещал театры с Данилевским, потому что рассказывал мне, как входят в оперу a la queue[14] и как торгуют правом на хвост, со свойственной ему способностью замечать то, что другим не кажется ни замечательным, ни смешным. Раз говорили о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что на этот счет всего хуже в Португалии, и еще хуже в Испании, и советовал мне туда не соваться с моими привычками. «Вы как это знаете, Николай Васильевич?» – спросила я его. «Да я там был, пробрался из Испании, где также очень гадко в трактирах. Все едят с прогорклым прованским маслом. Раз слуга подал мне котлетку, совсем холодную. Я попросил его подогреть ее. Он преспокойно пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который оказался очень хорошим, и ушел». – «Неправда, Николай Васильевич, вы там

не были, там все дерутся… все в смуте, и все, которые оттуда приезжают, много рассказывают, а вы ровно ничего». На все это он очень хладнокровно отвечал: «Вы привыкли, чтобы вам все рассказывали и занимали публику, чтобы с первого раза человек все выложил, что знает, что пережил, даже то, что у него на душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании, и у нас осталось это русской шуткой (Жуковский говорил, что русская шутка только тем и хороша, что повторяется). В Испании он точно был и, кажется, там познакомился с Боткиным. Он оставался недолго, ни климат, ни природа, ни картины не могли произвести особенного впечатления. Испанская школа для него, так же как и болонская, как в отношении красок, так и рисунка, была противна. Он называл Болонскую школу пекарской. Понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Рафаэля, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Его приводил в восторг сжатый, строгий рисунок Рафаэля, он не любил Перуджино из Ранционгли. Один Джон Bellini нравился своей бессмертной наивностью. Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краски ничего, а все в выражении и чувстве.

Рим

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 15 апреля 1837 г., из Рима:*

Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьк<им>. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Я. Прокоповичу 3 июня 1837 г., из Рима:*

Я бы хотел с тобою теперь поговорить о Риме; но это такое бездонное море, что не знаешь, откуда, с которого конца начать и о чем говорить. Я живу скоро три месяца, всякой день смотрю что-нибудь новое, – и все еще бездна остается смотреть. Тут только узнаешь, что такое искусство. (А природа? Она – италианская красавица, больше я ни с чем не могу ее сравнить, италианская пейзанка, смуглая, сверкающая, с черными, большими-большими глазами, в платье алого, нестерпимого для глаз цвета, в белом, как снег, покрывале.) Тут только можно узнать, что такое Рафаэль, которого имя привыкли мы произносить и который для нас, не бывших здесь, существо идеальное и миф высокого искусства.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 2 ноября 1837 г., из Рима:*

Князь Вяземский очень справедливо сравнивает Рим с большим прекрасным романом или эпопеею, в которой на каждом шагу встречаются новые и новые, вечно неожиданные красы. Перед Римом все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, в такое продолжительное наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней нет? Я читаю ее, читаю… и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно. Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены. Это город и деревня вместе. Обширнейший город – и, при всем том, в две минуты вы уже можете очутиться за городом. Хотите – рисуйте, хотите – глядите… не хотите ни того,

ни другого – воздух сам лезет вам в рот. Приглянет солнце (а оно глядит каждый день) – и ничего уже более не хочешь; кажется, ничего уже не может прибавиться к вашему счастию. А если случится, что нет солнца (что бывает так же редко, как в Петербурге солнце), то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления. Но небо, небо!.. Вообразите, иногда проходят два-три месяца, и оно от утра до вечера чисто, чисто – хоть бы одно облачко, хотя бы какой-нибудь лоскуточек его!

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. О. Балабиной, апрель 1838 г., из Рима:*

Когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет. Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы – эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе. Тот же чистый воздух, та же ясная даль. Тот же вечный купол, так величественно круглящийся в воздухе. Нужно вам знать, что я приехал совершенно один, что в Риме я не нашел никого из моих знакомых. <…> Но я был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тот же час отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более молчаливы, дичились и считали меня за форестьера[15].

Федор Иванович Иордан:

Приезд наследника цесаревича (в декабре 1838 г. – Сост.) привлек в Рим множество гостей, особенно русских; Н. В. Гоголь, воспользовавшись этим, как известный писатель, желая помочь одному земляку своему, малороссу, весьма посредственному

художнику, Шаповаленко, объявил, что будет читать комедию «Ревизор» в пользу этого живописца, по 5 скуд за билет. Как приезжие русские, так и приятели художника все бросились брать билеты. Говорили, что Гоголь имеет необыкновенный дар читать, особенно «Ревизора», – комедию, обессмертившую его. Княгиня Зинаида Волконская дала ему в своем дворе, Palazzo Poli, большое зало, с обещанием дарового угощения. Съезд был огромный. Я был восхищен появлением в числе гостей двух сестриц Алферьевых, из коих младшая была ангелом красоты, скромности и несказанной доброты; я все время любовался ею.

В зале водворилась тишина; впереди, полукругом, стояло три ряда стульев, и все они были заняты лицами высшего круга. По середине залы стоял стол, на нем графин с водою и лежала тетрадь; видим, Н. В. Гоголь с довольно пасмурным лицом раскрывает тетрадь, садится и начинает читать, вяло, с большими расстановками, монотонно. Публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно; Гоголь время от времени прихлебывал воду; в зале царствовала тишина. Окончилось чтение первого действия без всякого со стороны гостей одобрения; гости поднялись со своих мест, а Гоголь присоединился к своим друзьям. Явились официанты с подносами, на них чашки с отличным чаем и всякого рода печением. Я все посматривал на свой предмет, Алферьеву; увидал, что с нею была какая-то молодая бойкая дама, высокого роста мужчина, средних лет женщина и старушка.

Во время чтения второго действия многие кресла оказались пустыми. Я слышал, как многие, выходя, говорили: «Этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим».

Доброе намерение Н. В. Гоголя оказалось для него совершенно проигранным. Несмотря на яркое освещение зала и на щедрое угощение, на княжеский лад, чаем и мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не вызвав ни малейшего аплодисмента, и к концу вечера зало оказалось пустым; остались только мы и его друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника…

Михаил Петрович Погодин:

8 марта 1839 года я приехал в Рим. Там жил уже два года Шевырев. Там водворился и Гоголь, бежавший из Петербурга после разных неудовольствий и досад при представлении и напечатании «Ревизора». Я тотчас отправился отыскивать его. Он жил в Via Felice, № 126, в четвертом этаже. Взобравшись

к нему по широкой лестнице, отворяю дверь и в эту самую минуту, вижу, он из окна выплескивает что-то на улицу из огромного сосуда целым потоком. Я так и обмер. «Помилуй, что ты делаешь?» – «На счастливого», – отвечает он пресерьезно, бросаясь меня обнимать. Разумеется, увидя такую простоту нравов, я никогда уже не ходил в Риме около домов, чтобы не быть окачену или осчастливлену подобным счастьем, а выбирал всегда дорогу по средине улицы. Гоголь управлял совершенно домом, где жил, известный под именем signore Nicolo: назначил тотчас помещение мне с женою подле своей комнаты, через темную залу, и предписал хозяину условия, против которых тот не осмеливался произнести ни одного слова, приговаривая только вполголоса, с низкими поклонами: «Si, signore, si, signore». Первою заботою Гоголь почел устроить утреннее чаепитие. <…> У самого папы не бывало, думаю, такого богатого и вкусного завтрака, как у нас. Действие начиналось так. Приносился черномазою, косматою Нанною, – в роде описанных в его отрывке «Рим», – ужасной величины медный чайник с кипяченою водою. Гоголь обыкновенно начинал ругать Нанну за то и за другое, почему приносит она поздно, почему не вычистила ручки, не отерла дна и проч., и проч. Та с криком оправдывалась, а он доказывал, с разными характеристическими пантомимами с обеих сторон. Целая драма! «Да полно! – заключал я обыкновенно. – Вода простынет!» Гоголь опомнивается, и начинаются наливанья, разливанья, смакованья, подчиванья и облизыванья. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. «Довольно, довольно, пора идти!» – «Погодите, погодите, успеем. Еще по чашечке, а вот эти дьяволенки, – отведайте, – какие вкусные! Просто – икра зернистая, конфекты!» Всякой день выход был решаем уже после многих толков и споров. План осмотров написал для меня Шевырев. Он помог и Гоголю на первых порах познакомиться с Римом, который известен был Шевыреву как свои пять пальцев. Но Гоголю непременно хотелось делать всегда что-нибудь по-своему. Шевырев дорожил более всего точностью, порядком, полнотою, а Гоголь хотел удивлять сюрпризами, чтоб никто не знал заранее ничего. Шевыреву принадлежала наука и знания, Гоголю – воображение и оригинальность, которая не оставляла его ни в чем, в важных делах, как и в мелочах. Он выбирал время, час, погоду, – светит ли солнце, или пасмурно на дворе, и множество других обстоятельств, чтоб показать нынче то, а не это, а завтра – наоборот. Привел, например, он нас в первый раз в храм Св. Петра и вот как вздумал дать понятие об огромности здания. «Зажмурь глаза!» – сказал он мне в дверях

и повел меня за руку. Остановились спиною к простенку. «Открой глаза! Ну, видишь напротив мраморных ангельчиков под чашею?» – «Вижу». – «Каковы, – велики?» – «Что за велики! Маленькие». – «Ну, так оборотись». Я оборотился к простенку, у которого стоял, и увидел перед собою, под пару к ним, двух, почти колоссальных. Так велико между ними расстояние в промежутке: огромные фигуры издали кажутся только посредственными. В другой раз повел он нас молча бог знает по каким переулкам и, кажется, нарочно выбирал самые дурные и кривые, чтоб пройти как можно дальше и неудобнее. Конца, кажется, не было этому лабиринту. «Да куда же ты ведешь нас?» – спросил я его с нетерпением. – «Молчи, – отвечал он с досадою, погруженный как будто в размышление, – узнаешь после». Наконец, мы выходим на площадь. Перед нами открылась вдали широкая каменная лестница, наверху по бокам ее два огромные коня, которых под уздцы держали всадники. За нею на площади конная статуя. В глубине обширное здание с высокою каланчою. – «Ну, видишь молодцов?» – спросил мой чудак. – «Вижу. Да что же это такое?» – «Хороши?» – Между тем мы приблизились. – «Это древние статуи Диоскуров, из театра Помпеева. А это Марк Аврелий на коне. А это Капитолий!» Капитолий, – можно себе представить, какое впечатление производило такое полновесное слово.

Со слов **Ивана Федоровича Золотарева:**

До какой степени Гоголь был увлечен Римом, указывает эпизод, происшедший при самом приезде Золотарева в Рим. «Первое время, – рассказывал Золотарев, – от новости ли впечатлений, от переутомления дорогой, я совершенно лишился сна. Пожаловался я на это как-то Гоголю. Вместо сочувствия к моему тяжелому положению он пришел в восторг. „Как ты счастлив, Иван, – воскликнул он, – что не можешь спать!.. Твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя, что ты не можешь спать от охвативших тебя впечатлений природы и искусства. И после этого ты еще не будешь себя считать счастливым!“ Убеждать в действительной причине моей бессонницы великого энтузиаста, целые дни без отдыха проводившего в созерцании римской природы и памятников вечного города, я счел бесполезным».

Александра Осиповна Смирнова:

Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера,

которого бы он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его там нервы в мое пребывание, и почти всегда я видела его бодрым и оживленным. <…>

При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду[16] приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микель-Анджело. Когда мы осмотрели Рим en gros[17], он стал реже являться ко мне.

…Николаю Васильевичу Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывках о «Риме». St. Beuve встретил его на пароходе, когда, после смерти Иосифа Виельгорского, они ехали в Марсель навстречу бедной матери. St. Beuve говорил, что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений. Особенно поразили его знания Гоголя о транстиверианах. Едва ли сами жители города знают, что транстивериане никогда не сливались с ними, что у них свой язык, patois[18]. Заметив, что Гоголь так хорошо знал то, что относилось к языческой древности, я его мучила, чтобы узнать побольше. Он мне советовал читать Тацита. Я все его спрашивала, что такое история; карты, планы, Nybby, Canina, Peronezi лежали на нашем столе, все беспрестанно перечитывалось. Мне хотелось перенестись в эту историческую даль. Что таилось в Нероне? И я часто к нему приставала.

<…> Один раз, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где Нерон сидел? вы это должны знать. И как он сюда явился – пеший, в колеснице или на носилках?» Гоголь рассердился: «Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них не сыщется никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в этой географии

можно было бы увидеть, как писать историю. Но об этом после. Друг мой, я заврался, я скажу вам, между прочим, что подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры». Но не часто и не долго он говорил; обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья; в Кампаньи ложился навзничь и говорил: «Забудем все, посмотрите на это небо», – и долго задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо.

Павел Васильевич Анненков:

Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его…

Александра Осиповна Смирнова:

Однажды Гоголь повез меня и моего брата в San Pietro in Vinculi, где стоит статуя Моисея работы Микельанджело. Он просил нас идти за собою и не смотреть в правую сторону; потом привел нас к одной колонне и вдруг велел обернуться. Мы ахнули от удивления и восторга, увидев перед собою сидящего Моисея с длинной бородой. «Вот вам и Микельанджело! – сказал Гоголь. – Каков?» Сам он так радовался нашему восторгу, как будто он сделал эту статую. Вообще, он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие. В особенности он заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. Однажды, когда я не столько восхищалась, сколько бы он желал, Рафаэлевою Психеей в Фарнезине, он очень серьезно на меня рассердился. Для него Рафаэль-архитектор был столь же велик, как и Рафаэль-живописец, и, чтоб доказать это, он возил нас на виллу Мадата, построенную по рисункам Рафаэля. И он, подобно Микельанджело, соединил все искусства. Купидоны «Галатеи», точно живые, летают над широкой бездной, кто со стрелой, кто с луком. Гоголь говорил: «Этот итальянец так даровит, что ему все удается». В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной Страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу,

то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. «Тут история тайн души, – говорил Гоголь. – Всякий из нас раз сто на день то подлец, то ангел». После поездок мы заходили в Сан-Аугустино и восхищались ангелами Рафаэля и рядом с церковью покупали макароны, масло и пармезан. Гоголь сам варил макароны, но это у Лепри всего пять минут берет, и это блюдо съедалось с удовольствием.

Одним утром он явился в праздничном костюме, с праздничным лицом. «Я хочу сделать вам сюрприз, мы сегодня пойдем в купол Петра». У него была серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками. Мы рассмеялись. – «Что вы смеетесь? Ведь на Пасху, Рождество я всегда так хожу и пью после постов кофий с густыми сливками. Это так следует». – «А перчатки?» – «Перчатки, – отвечал он, – я прежде им верил, но давно разочаровался на этот счет и с ними простился». Ну, мы дошли, наконец, до самого купола, где читали надписи. Гоголь сказал нам, что карниз Петра так широк, что четвероместная карета могла свободно ехать по нем. – «Вообразите, какую штуку мы ухитрились с Жуковским, обошли весь карниз! Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее хождение, вот какой подлец я сделался». Во время прогулок по Риму Гоголя особенно забавляли ослы, на которых он ехал с нами. Он находил их очень умными и приятными животными и уверял, что они ни на каком языке не называются так приятно, как на итальянском (i ciuchi). После ослов его занимали растения, которых образчики он срывал и привозил домой.

Павел Васильевич Анненков:

Взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, Илиады Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. <…>

На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью. Так точно было и в Тиволи,

в густой растительности, окружающей его *каскателли*[19]; он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. <…>

Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники Пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне Вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского, – и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие албанские горы. Ближе к нам и в самую минуту благословения оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колена, на красные мантии кардиналов – и произвело картину ослепительного блеска и вместе превосходной перспективы. Затем наступили торжества *Corpus Domini*. В семь часов вечера перед *Ave Maria*, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранильницей, которою, после краткой молитвы, он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. <…>

Не должно думать, однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным; напротив, он обращался весьма строго с последними – и это *по принципу*. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим

народом; чуть оплошай – заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: „О, что за чудная *cosa*! о, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь“, и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. < … >

После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии», кажется Каменского, и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского: история Малороссии служила ему пособием. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «И зачем это Господь Бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба…» Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «Это что?» – вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойственен. Вообще все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую, многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), [она] известна Европе под именем альбанской *галереи* и утрудила на себе, неисчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и проч. Гоголь, случалось,

воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: «Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!» – и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. <…>

В Риме не было тогда постоянного театра, но какая-то заезжая труппа давала пьесы Гольдони, Нотте и переделки из французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier[20], а более ради старика Гольдони, который, по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях, составлял противоположность с путаницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако же, что удушливый *сироккo*, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха,

на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере. Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном. Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице: он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинства напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку *орвиетто*, захваченную кем-нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку. <…> Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное беспокойное чувство, которое выразить я, однако же, не смел перед Гоголем, а именно: тогдашняя его причуда – проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом, Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать.

Федор Васильевич Чижов:

В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире. Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone). Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает…

Вот все, что могу на этот раз припомнить о нашей римской жизни. Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его:

– Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при Гробе Господнем.

И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал:

– Что, господа? Не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?

Виктор Павлович Гаевский:

Во время неоднократного и продолжительного пребывания своего в Риме Гоголь выучился итальянскому языку, так что мог свободно объясняться, даже писал иногда из Рима в Петербург по-итальянски. Раз даже, в остерии, в обществе художников, он произнес речь на итальянском языке, без приготовления.

«Мертвые души»

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Пушкину 7 октября 1835 г.:*

Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь.

Марья Григорьевна Анисимо-Яновская, *дальняя родственница Гоголя:*

Мысль написать «Мертвые души» взята Гоголем с моего дяди Пивинского. У Пивинского было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал: «Эге! не додумались!» И поехал в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 верстах от Яновщины; кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души Пивинского.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 28 ноября 1836 г., из Парижа:*

Вещь, над которой сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей «Мертвые души» – вот все, что ты должен покаместь узнать об ней. Если Бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому*

12 ноября 1836 г., из Парижа:

Если совершу это творение так, как нуж<но> его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. <…>

Бог простер здесь надо мной Свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем: слышу кое-что из него… божественные вкушу минуты… но… теперь я погружен весь в «Мертвые души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. *Терпенье!* Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез, произнесут примирение моей тени. <…>

Не представится ли Вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но несмотря <на это>, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет «Мертвых душ». Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело.

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*

Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось

в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, словом – чтобы, по прочтеньи моего сочиненья, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко <изобразить> недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом.

Александра Осиповна Смирнова:

В июне месяце (1837 г. – Сост.) он вдруг нам предложил вечером собраться и объявил, что пишет роман под названием «Мертвые души» и хочет прочесть нам две первые главы. Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, В. П. Платонов и нас двое условились собраться в семь часов вечера. День был знойный. Около седьмого часа мы сели кругом стола. Гоголь взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но, несмотря на это, вытащил из кармана тетрадку в четверть листа и начал первую главу. Вдруг началась страшная гроза. Надобно было затворить окна. Хлынул такой дождь, какого никто не запомнил. В одну минуту пейзаж переменился: с гор полились потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь посматривал сквозь стекла и сперва казался смущенным, но потом успокоился и продолжал чтение. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в душе каждого из нас. Однако он не дочитал второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин мне говорил, что Н. В. боялся идти один домой, и на вопрос его отвечал, что на Грабене большие собаки, а он их боится и не имеет палки. На Грабене же не было собак, и я полагаю, что гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектам. На другой

день я еще просила его прочесть из «Мертвых душ», но он решительно отказал и просил даже его не просить никогда об этом.

Павел Васильевич Анненков:

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны. <…> Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было нелегко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски, кажется, так: «А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых душ»… Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло… Он был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки, – приветствие: «ноздря» – не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания, как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову – значит, и многим может притти. Это надо исправить».

Павел Васильевич Анненков:

Поселившись рядом с Гоголем (в Риме, в 1841 г. – Сост.), в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. <…> Почти каждое утро заставал я его в кофейной «Del buon gusto» <…>. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного

солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: Ecco, ladrone! (вот тебе, разбойник!) – Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь: «Как разнежился, негодяй!» – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова: «щекатурка» – употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» – «Да правильнее, кажется». – Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел по-прежнему в кресла, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика, я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль[21]». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине», первая редакция которой, далеко превосходящая в силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике. Когда, по окончании повести, я

отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?»

– «Но увидит ли она печать когда-нибудь?» – заметил я. «Печать – пустяки, – отвечал Гоголь с самоуверенностью. – Все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту, однако ж, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли, что нам до *cenare* (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся». По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 7 января 1842 г., из Москвы:*

Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись («Мертвых душ». – Сост.). Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев через два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он

находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места – перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), – нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнал, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без исключения были комедии в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна: мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров, – этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, – уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев увидел, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям; что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя – душа, душа человеческая; она жила, существовала.

Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Эти главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор (Качановский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком сурьезно. Из-за комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня немного, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжон или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете совещание вместе <…>. Рукопись моя у князя Одоевского. Вы прочитайте ее вместе, человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки.

Павел Васильевич Анненков:

Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ», как мы уже сказали, встретил в Москве какого-то рода затруднения. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знакомого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь, вместе с другими членами обыкновенного своего круга, был

настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную истину и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям: отсюда секретные сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком критику нашему свои книги и одобрительные слова. Не обвиняя никого, можно объяснить подобные явления чрезвычайной молодостью литературы и общества; но, как бы то ни было, при первом таинственном свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода. Белинский, возвращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и успех его. С ним, как мы слышали, пошла в Петербург и самая рукопись автора…

Виссарион Григорьевич Белинский *(1810–1848), литературный критик. Из письма М. С. Щепкину 14 апреля 1842 г.:*

Скажу вам несколько слов о приключениях в Питере рукописи Гоголя. Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено; цензурный террор усилился. К этому наделала шуму повесть Кукольника «Иван Иванович Иванов, или Все заодно». Предводитель дворянства хотел жаловаться; министр флота, князь Меншиков, в Государственном совете сказал членам: «А знаете ли вы, дворяне, как вас бьют холопы палками» и пр. Дошло до государя, и, по его признанию, граф Бенкендорф вымыл Нестору голову. Вследствие этого Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо. К этому еще Башуцкий написал пошлую глупость «Водовоз», в которой увидели невесть что; опять дошло до царя, и Башуцкий был у Бенкендорфа… Ну, сами посудите, как было тут поступить? Вы, живя в своем Китае-городе, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Одоевский передал рукопись графу

Виельгорскому, который хотел отвезти ее к Уварову; но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастию, дать ее (приватно) прочесть Никитенко. Тот, начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Виельгорскому показать Уварову. К счастию, рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России. В Питере погода на это меняется сто раз, – и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз, до эпизода о капитане Копейкине.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Еще в январе 1842-го года дошли до нас слухи, что первый том «Мертвых душ» в рукописи ходит по рукам в Петербурге. Гоголь не знал, что и делать. Он писал туда к своим приятелям, даже хотел сам ехать на выручку его; но, наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена. Я не могу утвердительно сказать, дознались ли мы тогда настоящим образом, где и по чьей милости прогуливался целый месяц первый том «Мертвых душ». У нас оставалось подозрение, что тот господин, которому поручено было его отправить на почту, или почтамтский чиновник, принявший посылку, вздумали наперед прочесть любопытную новость и дать почитать своим приятелям; дело только в том, что рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц. Я уверен, что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю.

Павел Васильевич Анненков:

Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печатанию «Мертвых душ». Плодом его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скорое появление «Мертвых душ» в печати.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слова; но Гоголь не видел в этом ничего необыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. Вначале напечатаны 2500 экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем.

Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание продолжалось два месяца. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстраивался духом и даже телом; он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что случилось это наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. <…>

Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо; просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно. Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей, равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны. <…>

Вскоре после отъезда Гоголя «Мертвые души» быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России. К сожалению, должно сказать, что некоторые добрые и хорошие люди принадлежали к этой категории и остались в ней навсегда.

Николай Васильевич Гоголь. *«Выбранные места из переписки с друзьями». Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»:*

Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, чтобы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души».

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Смирновой 25 июля 1845 г., из Карлсбада:*

Вы коснулись «Мертвых душ» и просите меня не сердиться на правду, говоря, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы, хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покаместь в душе у одного только автора. Многое, многое, даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь смотрел на «Мертвые души» как на что-то, что лежало вне его, где должен был раскрыть тайны, ему заповеданные.

В Москве

Николай Васильевич Берг:

Московские друзья Гоголя, точнее сказать приближенные (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наиболее любил; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтоб она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны; отнюдь не делала ему никаких вопросов; не подглядывала (сохрани Бог!) за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями. Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если неравно с ним встретятся и заговорят. Им сообщалось, между прочим, что Гоголь терпеть не может говорить о литературе, в особенности о своих произведениях, а потому никоим образом нельзя обременять его вопросами «что он теперь пишет?», а равно «куда поедет?» или «откуда приехал?» И этого он также не любил. Да и вообще, мол, подобные вопросы в разговоре с ним не ведут ни к чему: он ответит уклончиво или ничего не ответит. Едет в Малороссию – скажет: в Рим; едет в Рим – скажет: в деревню к такому-то… стало быть, зачем понапрасну беспокоить!

Иван Иванович Панаев:

…Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ».

Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня…

В исходе четвертого прибыл Гоголь… Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

– А, и вы здесь… Каким образом?

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. < … >

День этот был праздником для Константина Аксакова… С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался

с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

– Вот он наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека…

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностию, доходившей до комизма. Перед его прибором, за обедом, стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.

После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза – в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим… В комнате мгновенно все смолкло… Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками:

– Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался… Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события…

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

– Кажется, я вздремнул немного? – спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас…

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шепотом спрашивали – будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего не известно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

– А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы

не забыли его? – спросил он осторожно.

Гоголя подернуло несколько.

– Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого…

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостию и ловкостию стал упрашивать его… Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

– Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам… Не знаю только, что прочесть?.. – И приподнялся с дивана.

У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шепот: «Гоголь будет читать!»

Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях), и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.

Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного… и вдруг икнул раз, другой, третий…

Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

– Что это у меня? точно отрыжка? – сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились… Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок…

Гоголь продолжал:

– Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто чорт знает, чего не ешь…

И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою… «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?..» – говорил он, уже следя глазами свою рукопись. Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел… Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез.

Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг

был всеобщий; он подействовал на автора.

– Теперь я вам прочту, – сказал он, – первую главу моих «Мертвых душ», хоть она еще не обделана…

<…> Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне… На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою… И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия.

После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… «Гениально, гениально!» – повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

– Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.

Петр Иванович Бартенев *(1829–1912), историк, библиограф, издатель:*

Гоголь всегда держал себя бесцеремонно у Хомяковых: он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу: чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Незабвенный Николай Васильевич Гоголь переселился к нам на Девичье Поле прямо из знойной Италии. Он был изнежен южным солнцем, ему была нужна особенная теплота, даже зной; а у нас кстати случилась, над громадной залой с хорами, большая, светлая комната, с двумя окнами и балконом к восходу солнца, царившего над комнатой в летнее время с трех часов утра до трех пополудни. Хотя наш дом, принадлежавший раньше князю Щербатову, и был построен на большую ногу, но уже

потому, что комната приходилась почти в третьем этаже, она была, относительно своей величины, низка, а железная крыша также способствовала ее нагреванию. Я распространяюсь об этом ничтожном для других обстоятельстве на том основании, что для Николая Васильевича это было важно; после итальянского зноя наш русский май не очень-то приятен; а потому наша комната была ему как раз по вкусу. Нечего и говорить, каким почетом и, можно сказать, благоговением был окружен у нас Гоголь. <…> До обеда он никогда не сходил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми нами, причем был большею частью весел и шутлив. <…>

Весь обед, бывало, он катает шарики из хлеба и, школьничая, начнет бросать ими в кого-нибудь из сидящих; а то так, если квас ему почему-либо не понравится, начнет опускать шарики прямо в графин. После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца (М. П. Погодина. – *Сост.*), сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: «Ну что, находился ли?» – «Пиши, пиши, – отвечал Гоголь, – бумага по тебе плачет». И опять то же; один пишет, а другой ходит. Ходил же Н. В. всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи (тогда о керосине еще не было и помину) оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Н. В. очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составлявших анфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: «Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она звала Н. В.) столько ветру напустил, так страсть!» – «Не сердись, старая, – скажет добродушно Н. В., – графин кончу, и баста». Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов, синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его

на разговор; наконец, он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы посмотреть на «Гоголя», и когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал. Не могу сказать, чтобы у Н. В. было много знакомых. Может быть, интеллигентное общество, понимая, как дорог для Гоголя каждый час, не решалось отнимать у него время, а может быть, было дано людям строгое приказание никого не принимать. Гоголь жил у нас скорее отшельником. <…>

Дмитрий Николаевич Свербеев *(1799–1874), мемуарист:*

Я помню, как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих «Мертвых душ», приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения.

«Выбранные места из переписки с друзьями»

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. А. Плетневу 30 июля 1846 г., из Швальбаха:*

Наконец моя просьба! Ее ты должен выполн<ить>, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем – вот что покамест могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга; к концу ее печати все станет ясно <…>. Печатанье должно происходить в тишине: нужно, чтобы, кроме цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. <…> Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга <…>. Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображенью, воспоследует немедленно: книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга. Вслед за прилагаемою при сем тетрадью будешь получать безостановочно другие.

Петр Александрович Плетнев. *Из письма Н. В. Гоголю 13 января 1847 г., из Петербурга:*

Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие – иди своею дорогой. <…> В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний.

Александра Осиповна Смирнова. *Из письма Н. В. Гоголю 11 января 1847 г., из Калуги:*

Книга ваша («Переписка») вышла под Новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши «Мертвые души» даже, – все побледнело как-

то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Смирновой 30 января 1847 г., из Неаполя:*

По делам моим произошла совершенная бестолковщина. Из книги моей напечатана только одна треть, в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга. Плетнев объявляет весьма холоднокровно, что просто не пропущено цензурой. Самые важные письма, которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, – письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу государю и всем моим соотечественникам.

Сергей Тимофеевич Аксаков. *Из письма И. С. Аксакову 16 января 1847 г., из Москвы:*

Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнью своею возгласами о христианском смирении утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование его, чтобы, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтобы не ставили ему памятника, а чтобы каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправились о имени его?.. Все это надобно завершить фактом, который равносилен 41-му числу мартобря (в «Записках сумасшедшего»).

Сергей Тимофеевич Аксаков. *Из письма Н. В. Гоголю 27 января 1847 г., из Москвы:*

Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено. Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений… Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. О. Россету 15 апреля 1847 г., из Неаполя:*

Одна из причин печатания моих писем была и та, чтобы поучиться, а не поучить. А так как русского человека до тех пор не заставишь говорить, пока не рассердишь его и не выведешь совершенно из терпения, то я оставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое. Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все сведения, которые я приобрел доселе с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть. Вот почему я с такой жадностью хочу знать толки всех людей о моей нынешней книге, не выключая лакеев. Собственно не ради книги моей, но ради того, что в суждении о ней выказывается сам человек, произносящий суждение.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Н. Шереметевой 1 апреля 1847 г., из Неаполя:*

Весьма мало вы себе позволили замечаний на мою книгу и даже и за них просите у меня извинения. <…> Упреки мне нужны, упреками воспитывается моя душа, и упреки составляют теперь мою пищу, которою питаюсь. Как ни несправедливы многие из них, но в основании их лежит всегда какая-нибудь правда, и это меня заставляет всякий раз построже оглянуться на себя, и внутренний глаз мой становится после того светлее, точно как будто бы слетает с него какая-нибудь шелуха. Главной виной того множества упреков, которым подвергнулась моя книга, есть незрелость моя. Те же самые вещи можно было сказать

гораздо обдуманнее, точнее, определительней, проще, скромнее и смиреннее – и книга моя имела бы больше защитников. Но зато я бы не достал бы себе этого множества упреков, которые мне нужны, и мне бы не было средств поумнеть как следует, для того, чтобы уметь заговорить как следует.

Степан Петрович Шевырев *(1806–1864), поэт, критик, историк русской словесности, профессор Московского университета. Из письма Гоголю 22 марта 1847 г., из Москвы:*

Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В искусстве, в науке, во всяком деле человеческом оно может значить и принести плод даже, а в вере оно уродство.

Николай Васильевич Гоголь. *Авторская исповедь:*

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как Выбранные места из переписки с друзьями. И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть все и воспользоваться этим случаем, как указаньем свыше – рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, словом – тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть

произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. <…>

Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди также умные, и притом не раздраженные, превозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякой человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью – это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, – исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 10 июля 1847 г., из Франкфурта:*

Душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношенья мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мною, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины – этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно вести брань с самыми

ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот все, что могу вам сказать теперь.

Письмо Белинского к Гоголю

Иван Иванович Панаев:

Белинский был в энтузиазме от Гоголя как писателя – это всем известно, но как с человеком он никогда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен в самом себе и к тому же, по мере своей известности, начинал приобретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сближаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый и искренний по натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато в присутствии Гоголя.

Павел Васильевич Анненков:

Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданное письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им «Переписка с друзьями» наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, но все-таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней, как от человека, кажется, не страдающего заносчивостию и самообожанием. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о котором говорено, и первое после короткой встречи нашей в Париже и Бамберге. Оно довольно ясно обнаруживало в Гоголе желание если не утешения и поддержки, то, по крайней мере, тихой беседы. В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон, вместе с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор «Переписки» во 2-м [номере] «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков «Переписки», попреками и бранью на ее автора.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. Г. Белинскому 20 июня 1847 г., из Франкфурта:*

Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором [номере] «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в виду

огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные, неутральные – все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека, и потому почти все приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые покаместь еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом…

<…> Пишите критики самые жестокие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть нежнейшего сердца, – все это вынесет душа моя, хотя и не без боли, и не без скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!

Павел Васильевич Анненков:

Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, – но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся, – надо растолковать ему это – я буду ему отвечать».

Он понял вызов Гоголя.

В тот же день небольшая комната, рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом…

Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив

и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

Виссарион Григорьевич Белинский. *Письмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г., из Зальцбрунна:*

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши,

и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. д.), и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была бы произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей, – в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека*, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому что в этом *прекрасном далеке* вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе; права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими

крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами*! И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки… И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, – совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что, так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении.

А выражение: *ах ты, неумытое рыло!* Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя еще чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления – быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или вы больны и вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли!..

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, – что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною… Что вы подобное учение опираете на православную церковь – это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более

православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста…

А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет *дурья порода, колуханы, жеребцы*? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится – молиться, не годится – горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем.

Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью, – ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозности, нетерпимости и фанатизме: его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего *прекрасного далека*: вблизи-то она не так прекрасна и не так безопасна… Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух – он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот, постигает человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит более, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества… Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили…

«Но, может быть, – скажите вы мне, – положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» – Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили

общее с вами учение с большей энергией и с большею последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свечке тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театры, которые, с вашей точки зрения, если б только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение

православию, самодержавию и народности. Разительный пример – Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказываемых вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» оттого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне еще кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всеми статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль – довести о нем до сведения публики – была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, – тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль

сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом в вашей книге вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе, – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек».* Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о себе как писатель, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отличным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинять их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется,

сколько я помню, за его «*вялый, влачащийся по земле стих*». Все это нехорошо! А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемонии, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и <Прокопович> переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж, через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить; это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, – я первый порадуюсь этому, а не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние.

Павел Васильевич Анненков:

Я испугался и тона, и содержания этого ответа, и, конечно, – не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его

понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования – вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось: «А что же делать? – сказал он. – Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него».

Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж Г<ерцен>, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

…В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны другое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением – письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложения.

Николай Васильевич Гоголь. *Письмо В. Г. Белинскому 10 августа 1847 г., из Остенде:*

Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, нежели я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги; ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных в мыслях об одном и том же предмете, что опровергает один,

то утверждает другой. <…> Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писания до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон. <…> Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы и я виноваты равномерно перед ним. И вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покамест помыслите прежде всего о вашем здоровьи. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть и с большею пользою как для себя, так и для них.

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще.

Павел Васильевич Анненков:

Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту»…

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма П. В. Анненкову 12 августа 1847 г., из Остенде:*

Здоровье мое, которое начало было уже поправляться и восстанавляться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело.

Паломничество в Святую землю

Владимир Федорович Адлерберг, *граф (1791–1884), главноначальствующий почтовым департаментом. Из письма Н. В. Гоголю 9 января 1847 г.:*

Государь император изволил прочитать с особым благоволением всеподданнейшее письмо ваше о выдаче вам паспорта для путешествия по святым местам. Его величество высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось, но что, искренно желая содействовать вам в благом вашем намерении, государь император приказал министру иностранных дел снабдить вас беспошлинным паспортом на полтора года для свободного путешествия к святым местам и, вместе с сим, сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в турецких владениях, Египте, Малой Азии, что государю императору угодно, дабы вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение, и независимо от сих сообщений означенным лицам доставить вам рекомендательные к ним же письма от него, графа Нессельроде (министра иностранных дел).

Николай Васильевич Гоголь. *Из писем гр. А. П. Толстому 22 января 1848 г., гр. А. М Виельгорской 23 января, С. П. Шевыреву 25 января, с Мальты. Сводный текст (в редакции В. В. Вересаева):*

Странствования мои по Средиземному морю уже начались. Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находиться иностранцу, любящему мир и тишину. До Мальты я в силу-силу добрался. Еще не было сильной бури, а уж меня привело в такое состояние беспрерывной рвоты, всякие десять минут, что я походил скорей на умирающего, чем на сохраняющего в себе залог жизни. Если бы еще такого адского состояния были одни сутки, меня бы не было на свете. Со страхом думаю о предстоящем четырехсуточном переезде. В Мальте должен я отдохнуть. Против всякого чаяния, в Мальте почти вовсе нет всех тех комфортов, где англичане: двери с испорченными замками, мебель простоты гомеровской, и язык невесть какой. Аглицкого почти даже и не слышно. Плохой отелишко, в котором я остановился, разве только после скверного парохода «Капри» может показаться приятным.

Священник Петр Соловьев:

Это было в январе 1848 года. На пути в Иерусалим мы отправились из Константинополя в Смирну на австрийском пароходе «Махмудиэ», а в Смирне пересели на другой пароход той же компании Ллойда – «Истамбул», идущий к берегам Сирии, – в Бейрут. На «Истамбуле» было много народу, и большею частью поклонников, ехавших в Иерусалим на поклонение св. местам. Каких представителей наций тут не было! Весь этот люд в общем были как бы земляки; одни только мы, русские, были особняками среди этой разношерстной толпы и не принимали никакого участия в общей суматохе подвижных восточных человеков. Но оказалось, что кроме нас тут же были еще русские люди. Один из них был высокий, плотный мужчина в темно-синей с коротким капюшоном шинели на плечах и с красною фескою на голове, другой же маленький человечек с длинным носом, черными жиденькими усами, с длинными волосами, причесанными a la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием «манто», составляли костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешествующий художник. Действительно, это был художник, наш родной гениальный сатирик Николай Васильевич Гоголь, а спутник его – генерал Крутов.

При остановке у Родоса мы съехали с парохода на остров осмотреть город с его историческими постройками рыцарей-крестоносцев и посетить местного прославленного митрополита, жившего за городом. Владыка принял нас радушно, а при прощании снабдил целою корзиною превосходных апельсинов из своего сада. На пароходе о. П. поручил мне попотчевать родосскими гостинцами и земляков-спутников, что я не замедлил исполнить, отобрав десятка два лучших плодов. Гоголь и ген. Крутов не отказались от лакомства и поблагодарили меня за любезность. Тем дело и кончилось. Но, вероятно, о. А. П. на расспросы их о мне отрекомендовал им меня яко художника, потому что спустя полчаса Гоголь вышел на палубу, где тогда я находился, и прямо направился ко мне. Не входя ни в какие объяснения, он показывает мне маленькую, вершка в два, живописную (масляными красками) на дереве икону святителя Николая-чудотворца и спрашивает мнения, – искусно ли она написана? Затем он, пока я всматривался в живопись, поведал мне, что эта икона есть верная копия в миниатюре с иконы святителя в Барграде (Бары), написана для него по заказу искуснейшим художником и теперь сопутствует ему

в путешествиях, потому что святитель мирликийский Николай – его патрон и общий покровитель всех христиан, по суху и по морям путешествующих. Я полюбовался иконою, как мастерски написанною, и оговорил, что не могу ничего сказать о верности копии, не видав прототипа, и еще заметил, что у нас на православных старинных иконах святитель изображается несколько иначе, особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском происхождении барградского изображения святителя. На мой отзыв Гоголь ничего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил ею, как святынею. В Бейруте Гоголь поместился у нашего генерального консула Базили, – своего однокашника по воспитанию в Нежинском лицее. Мы остановились в Бейруте дней на десять, а Гоголь с Крутовым, в сопровождении Базили, отправились в Иерусалим.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 28 февраля 1850 г.:*

Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю. Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей, в сопровожденьи и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по морскому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима.

Лев Иванович Арнольди:

Когда мы остались втроем, сестра попросила Гоголя рассказать ей что-нибудь о его путешествии в Иерусалим. «Теперь уже поздно, – отвечал он, – вам пора и на отдых, лучше когда-нибудь в другой раз. Скажу вам только, что природа там не похожа нисколько на все то, что мы с вами видели; но тем не менее поражает вас своим великолепием, своей шириной. А Мертвое море – что за прелесть! Я ехал с Базили, он был моим путеводителем. Когда мы оставили море, он взял с меня слово,

чтоб я не смотрел назад, прежде чем он мне скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега, в степях, и точно шли по ровному месту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но все-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления! Вообразите себе, что́ я увидал! На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи, или, лучше сказать – горы, внизу, виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу вам описать, как хорошо было это море при захождении солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какою-то фиолетовою жидкостию».

Со слов **Константина Михайловича Базили:**

Гоголь совершил переезд через пустыни Сирии в сообществе своего соученика по гимназии Базили. Базили, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным влиянием на умы туземцев. Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собою только власть «великого падишаха». Каково же было изумление арабов, когда они увидели его в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника! Гоголь, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, которые, ему казалось, легко было бы устранить, – не раз увлекался за пределы обыкновенных жалоб и сопровождал жалобы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были доказательством ничтожности грозного сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опасно в их странствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего только высокое мнение арабов о значении Базили в русском государстве. Он упрашивал поэта говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в необходимости такого поведения, но при первой досаде позабыл дружеские условия и обратился в избалованного ребенка. Тогда Базили решил вразумить приятеля самим делом и принял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а мусульманам дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь

«великого падишаха» и что выше его нет визиря в империи.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 28 февраля 1850 г.:*

Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы, – одно место, где он кажется обширным и великолепным <…>. Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги Вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 6 апреля 1848 г., из Бейрута:*

Я говел и приобщался у самого Гроба Святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! <…> Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить нагнувшись в пояс; больше трех поклонников у ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел Ангел, возвестивший о Воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй!» и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходивш<ее> из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщенья меня, недостойного…

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 20 февраля 1850 г.:*

Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось

в России на станции.

Варвара Николаевна Репнина:

Кажется, по возвращении из Иерусалима Гоголь вдруг приехал к нам в Яготино, куда мы с моей матерью приезжали на время из Одессы. Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему ясны были люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством.

В. Я. Головня, *со слов своей матери, сестры Гоголя, О. В. Гоголь:*

Ольга Васильевна ожидала, что путешествие в Иерусалим возвратит брату душевное спокойствие и прежнюю веселость и работоспособность; но как только он приехал в Яновщину, – тотчас после пребывания в Иерусалиме, – она с первого взгляда на его осунувшееся, страдальческое лицо поняла, что эта поездка не только ничего не дала ее брату, а даже, напротив, еще более подорвала его слабеющие силы. Гоголь почти ни с кем не разговаривал, и только рассказы Ольги Васильевны и ее аптека несколько оживляли его.

Тимофей Григорьевич Пащенко:

Узнали соседи, что Гоголь возвратился из святых мест, съехались к его матери и желали видеть Гоголя. Гоголь жил в отдельном флигеле. Свиделись с ним соседи и начали расспрашивать о святых местах. – «В святых местах перебывало так много разных путешественников и в разное время, и так много о них написано, что я ничего не могу сказать вам нового», – был ответ Гоголя.

Ольга Васильевна Гоголь *(в замужестве Головня):*

Мне кажется, брат был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что он не хотел нам рассказывать. Когда просили его рассказать, он сказал: «Можете прочесть „Путешествие в Иерусалим“».

Всеволод Андреевич Чаговец:

Как память об этом путешествии в семье Гоголя хранились перламутровые коробочки с священными изображениями и сердоликовые крестики. Кроме того, он привез еще мыло,

которым омывают гроб Христа в ночь под Пасху (<…> с лицевой стороны <…> печать соломонова храма, в виде шестиугольной звезды; с другой изображена пальмовая ветвь (ветвь мира)); а сестре Ольге подарил кипарисовый посох, с которым она не расставалась всю жизнь.

Павел Васильевич Анненков:

(Осенью 1851 г. – Сост.). Раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его для разбойничества, и проч., а на вопрос мой, какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: «Что жизнь! Не об ней там думается!»

Попытка женитьбы. 1850 год

Владимир Александрович Соллогуб:

Анна Михайловна (графиня Виельгорская. – Сост.), кажется, – единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма графине А. М. Виельгорской:*

Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил Бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и, что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Скажу вам из этой исповеди одно только то, что я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что все случилось от того, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если б случилось нам прожить подольше где-нибудь не праздно, но за делом <…>. Тогда бы и мне, и вам оказалось видно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас. Бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть нечто другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же. Все же отношения наши не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека.

Владимир Иванович Шенрок*, со слов родственников гр. А. М. Виельгорской:*

Гоголь, давая Анне Михайловне советы и наставления, касающиеся русской литературы, начинает в то же время

затрагивать вопросы, относящиеся к разным сторонам жизни. Он советует ей не танцевать, не вести праздных разговоров, откровенно высказывает ей, что она не хороша собой, что ей не следует искать избранника в большом свете, посреди пустоты всех видов и пр. В свою очередь, исполненные задушевного участия расспросы Анны Михайловны о здоровье Гоголя, об успехе его литературных занятий поддерживали в нем надежду на взаимность. В переписке затрагивался вопрос о призвании целой жизни и о том, на что себя посвятить. Одним словом, отношения ее к Гоголю незаметно перешли за черту обыкновенной дружбы и сделались чрезвычайно интимными. Но здесь-то началась фальшь их положения – Виельгорские, как большинство людей титулованных и принадлежащих к высшему кругу, никогда не могли бы допустить мысли о родстве с человеком, так далеко отстоявшим от них по рождению. Анна Михайловна, конечно, не думала о возможности связать свою судьбу с Гоголем. Оказалось, что Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом. Особенно непонятно это казалось Луизе Карловне (матери). Впрочем, мы должны сделать оговорку: собственно говоря, Гоголь только обратился с запросом к графине через А. В. Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских, Аполлинарии Михайловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю…

Второй том «Мертвых душ»

Павел Александрович Матвеев *(1844 – (?)), правовед, литератор:*

Я слышал в начале 60-х годов от одного инока Оптиной пустыни, сколько помню, о. Павлина, заведовавшего монастырской библиотекой и лично знавшего Гоголя, указание на настоящее содержание «Мертвых душ» – духовное возрождение «мертвых душ» первой части в последующих томах. То же мне говорил о. Климент, посвященный рассказами гр. А. П. Толстого в действительное содержание поэмы Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма гр. Л. А. Перовскому или кн. П. А. Ширинскому-Шихматову, или шефу жандармов графу А. Ф. Орлову 10–18 июля 1850 г.:*

В остальных частях «Мертвых душ», над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Многое, нами позабытое, пренебреженное, брошенное, следует выставить ярко в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности.

Лев Иванович Арнольди:

Вечером сестра рассказывала мне, что Гоголь прочел ей несколько глав из второго тома «Мертвых душ» и что все им прочитанное было превосходно. Я, разумеется, просил ее уговорить Гоголя допустить и меня к слушанию; он сейчас же согласился, и на другой день мы собрались для этого в одиннадцать часов утра, на балконе, уставленном цветами. Сестра села за пяльцы, я покойно поместился в кресле против Гоголя, и он начал читать нам сначала ту первую главу второго тома, которая вышла в свет после его смерти уже. Сколько мне помнится, она начиналась иначе и вообще была лучше обработана, хотя содержание было то же.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года. Причина же выхода в отставку Тентетникова была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас

дошли. <…>

Помню, что это место в чтении Гоголя особенно меня поразило по тонкости его психического анализа борьбы, происходящей в благородной душе молодого человека, с возвышенными чувствами и бескорыстными желаниями добра и пользы поступающего на службу. Таким был Тентетников, – не нужно забывать, что под влиянием чудного наставника развилось пылкое сердце мальчика и пробуждены были в нем все честные, благородные порывы и стремления; но Тентетников лишился своего наставника, когда «еще не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что растопившийся, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки». Поэтому, еще в школе, когда изменился характер преподавания и воспитания, он благодаря природному уму чувствовал, что не так должно преподавать, но *как* – не знал, и он «повесил нос». Но, по мере того как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это – только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе». Там подвиги – и он жаждет их. С таким настроением поступает Тентетников на службу. С рвением принимается за работу. Прежде всего его несколько смущает механизм занятий, которому, ему казалось, придают слишком большое значение. Но он с этим примиряется в надежде все-таки добраться до сути дела, где найдет пищу своим благородным стремлениям и где, может быть, его ожидают подвиги. Он принимается за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким. Действительно, уже в должности столоначальника у него в руках дела, направление которых уже много от него зависит. Он пишет, пишет новые законы, пишет распоряжения о благоустройстве отдаленнейших мест, о которых не имеет ни малейшего понятия. Пишет заочно наказы, разрешающие участь целого народонаселения, о действительных нуждах которого он ничего хорошенько не знает. Решает на бумаге дела людей, живущих за три тысячи верст. Ум и совесть говорят ему, что тут есть какая-то фальшь и что из всего этого может произойти много вздору, при всем желании его добра и пользы. Он чувствовал, что не так следовало бы итти делам, а как – не знал. И он утратил веру в службу. Вот разгадка, почему Тентетников «*свыкнулся* с службой: но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени,

заставив его более дорожить оставшимися минутами». При таком настроении легко мог Тентетников подчиниться влиянию людей раздраженных и наискиваться на неприятности. При первом случае он выходит в отставку.

Вот тема, которая развита была Гоголем с поразительною живостию, – Тентетников выставлен был лицом в высшей степени симпатичным. Утратив веру в свой идеал, чувствуя себя безоружным в борьбе с неразрешимыми противоречиями, он, может быть по примеру других, окончательно и примирился бы с ними, чиновное честолюбие взяло бы верх над голосом совести, ежели бы не представилось воображению его другое поприще деятельности, еще не испытанное им, но заманчивое по обилию средств к практическому приложению всего запаса, добрых и благородных намерений, которыми полна была душа его. Он поехал в деревню. < … >

Затем приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года.

Лев Иванович Арнольди:

Хохотом генерала Бетрищева оканчивалась эта глава, а за нею следовала другая, в которой описан весь день в генеральском доме. Чичиков остался обедать. К столу явились, кроме Уленьки, еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанец или португалец, проживавший у Бетрищева в деревне с незапамятных времен и неизвестно для какой надобности. Первая была девица средних лет, существо бесцветное, некрасивой наружности, с большим тонким носом и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по целым дням и только беспрерывно вертела глазами в разные стороны с глупо-вопросительным взглядом. Португалец, сколько я помню, назывался Экспантон, Хситендон или что-то в этом роде; но помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто – Эскадрон. Он тоже постоянно молчал, но после обеда должен был играть с генералом в шахматы. За обедом не произошло ничего необыкновенного. Генерал был весел и шутил с Чичиковым, который ел с большим аппетитом; Уленька была задумчива, и лицо ее оживлялось только тогда, когда упоминали о Тентетникове. После обеда генерал сел играть с испанцем в шахматы и, подвигая шашки вперед, беспрерывно повторял: «Полюби нас беленькими…» – «Черненькими, ваше превосходительство», – перебивал его Чичиков. «Да, повторял генерал, полюби нас черненькими, а беленькими нас сам Господь

Бог полюбит». Через пять минут он опять ошибался и начинал опять: «Полюби нас беленькими» – и опять Чичиков поправлял его, и опять генерал, смеясь, повторял: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас сам Господь Бог полюбит». После нескольких партий с испанцем генерал предложил Чичикову сыграть одну или две партии, и тут Чичиков выказал необыкновенную ловкость. Он играл очень хорошо, затруднял генерала своими ходами и кончил тем, что проиграл; генерал был очень доволен тем, что победил такого сильного игрока, и еще более полюбил за это Чичикова. Прощаясь с ним, он просил его возвратиться скорее и привезти с собою Тентетникова. Приехав к Тентетникову в деревню, Чичиков рассказывает ему, как грустна Уленька, как жалеет генерал, что его не видит, что генерал совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразумение, намерен сам первый к нему приехать с визитом и просить у него прощения. Все это Чичиков выдумал. Но Тентетников, влюбленный в Уленьку, разумеется, радуется предлогу и говорит, что если все это так, то он не допустит генерала до этого, а сам завтра же готов ехать, чтобы предупредить его визит. Чичиков это одобряет, и они условливаются ехать вместе на другой день к генералу Бетрищеву. Вечером того же дня Чичиков признается Тентетникову, что соврал, рассказав Бетрищеву, что будто бы Тентетников пишет историю о генералах. Тот не понимает, зачем это Чичиков выдумал, и не знает, что ему делать, если генерал заговорит с ним об этой истории. Чичиков объясняет, что и сам не знает, как это у него сорвалось с языка; но что дело уже сделано, потому убедительно просит его, ежели он уже не намерен лгать, то чтобы ничего не говорил, а только бы не отказывался решительно от этой истории, чтоб его не скомпрометировать перед генералом. За этим следует поездка их в деревню генерала; встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Уленькой и, наконец, обед. Описание этого обеда, по моему мнению, было лучшее место второго тома. Генерал сидел посредине, по правую его руку Тентетников, по левую Чичиков, подле Чичикова Уленька, подле Тентетникова испанец, а между испанцем и Уленькой англичанка; все казались довольны и веселы. Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников – тем, что почти против него сидела Уленька, с которою он по временам встречался взглядами; Уленька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними и что отец опять с ним в хороших отношениях, и, наконец, Чичиков был доволен своим положением примирителя в этой знатной и богатой семье. Англичанка

свободно вращала глазами, испанец глядел в тарелку и поднимал свои глаза только тогда, как вносили новое блюдо. Приметив лучший кусок, он не спускал с него глаз во все время, покуда блюдо обходило кругом стола или покуда лакомый кусок не попадал к кому-нибудь на тарелку. После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал как один человек на защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что́ важно в этой войне и вот что́ желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Уленька? Она вся впилась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила с жадностию каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку, англичанка с глупым видом оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы… Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание. «Да, – сказал он, – страшные холода были в 12-м году!» – «Не о холодах тут речь», – заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его; но Тентетников был совершенно счастлив тем уже, что в глазах Уленьки прочел себе одобрение. История о генералах была забыта. День прошел тихо и приятно для всех. – После этого я не помню порядка, в котором следовали главы; помню, что после этого дня Уленька решилась говорить с отцом своим серьезно о Тентетникове. Перед этим решительным разговором, вечером, она ходила на могилу матери и в молитве искала подкрепления своей решимости. После молитвы вошла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия

и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала. Это было через несколько дней после мировой. Получив согласие, Тентетников, вне себя от счастия, оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило!.. Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы. – В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников – в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и наконец все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый! Я живо помню, что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств, от полноты счастья, Тентетников плакал и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросился к нему на шею и благодарит его. «Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастием; чем могу возблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого…» У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль: «Я ничего для вас не сделал, это случай, – отвечал он, – я очень счастлив, но вы легко можете отблагодарить меня!» – «Чем, чем? – повторил Тентетников. – Скажите скорее, и я все сделаю». Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде, о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь триста душ. «Да зачем же непременно мертвых?» – говорит Тентетников, не хорошо понявший, чего, собственно, добивается Чичиков. «Я вам на бумаге отдам все мои триста душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую». Чичиков остолбенел от удивления! «Как, вы не боитесь сделать это?.. Вы не боитесь, что я могу вас обмануть… употребить во зло ваше доверие?» Но Тентетников не дал ему кончить. «Как? – воскликнул он, – сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнию!» Тут они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиков заснул сладко в этот вечер. На другой день в генеральском доме было совещание, как объявить родным генерала о помолвке его дочери, письменно или через кого-нибудь, или самим ехать. Видно, что Бетрищев очень беспокоился о том, как примут княгиня Зюзюкина и другие знатные его родные эту новость. Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тентетникова. Разумеется, он имел в виду

при этом все те же мертвые души. Его предложение принято с благодарностию. Чего лучше? – думал генерал, – он человек умный, приличный; он сумеет объявить об этой свадьбе таким образом, что все будут довольны. Генерал для этой поездки предложил Чичикову дорожную двухместную коляску заграничной работы, а Тентетников четвертую лошадь. Чичиков должен был отправиться через несколько дней. С этой минуты на него все стали смотреть в доме генерала Бетрищева как на домашнего, как на друга дома. Вернувшись к Тентетникову, Чичиков тотчас же позвал к себе Селифана и Петрушку и объявил им, чтоб они готовились к отъезду. Селифан в деревне Тентетникова совсем изленился, спился и не походил вовсе на кучера, а лошади совсем оставались без присмотра. Петрушка же совершенно предался волокитству за крестьянскими девками. Когда же привезли от генерала легкую, почти новую коляску и Селифан увидел, что он будет сидеть на широких козлах и править четырьмя лошадьми в ряд, то все кучерские побуждения в нем проснулись и он стал с большим вниманием и с видом знатока осматривать экипаж и требовать от генеральских людей разных запасных винтов и таких ключей, каких даже никогда и не бывает. Чичиков тоже думал с удовольствием о своей поездке: как он разляжется на эластических с пружинами подушках и как четверня в ряд понесет его легкую, как перышко, коляску.

Вот все, что читал при мне Гоголь из второго тома «Мертвых душ». Сестре же моей он прочел, кажется, девять глав. Она рассказывала мне после, что удивительно хорошо отделано было одно лицо в одной из глав; это лицо: эманципированная женщина-красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей. Судьба привела ее в провинцию; ей уже за тридцать пять лет, она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. В это время она встречается с везде и всегда скучающим Платоновым, который также израсходовал всего себя, таскаясь по светским гостиным. Им обоим показалась их встреча в глуши, среди ничтожных людей, их окружающих, каким-то великим счастием; они начинают привязываться друг к другу, и это новое чувство, им незнакомое, оживляет их; они думают, что любят друг друга, и с восторгом предаются этому чувству. Но это оживление, это счастие было только на минуту, и через месяц после первого признания они замечают, что это была только вспышка, каприз, что истинной любви тут не было, что они и не способны к ней, и затем наступает с обеих сторон охлаждение и потом опять скука и скука, и они, разумеется, начинают скучать в этот раз еще

более, чем прежде. Сестра уверяла меня, а С. П. Шевырев подтвердил, что характер этой женщины и вообще вся ее связь с Платоновым изображены были у Гоголя с таким мастерством, что ежели это правда, то особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас, потому что мы все остаемся теперь в том убеждении, что Гоголь не умел изображать женские характеры; и действительно, везде, где они являлись в его произведениях, они выходили слабы и бледны. Это было замечено даже всеми критиками.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Я могу указать <…> еще несколько мотивов из последних глав второй части, о которых г. Арнольди не упоминает, но которые я слышал от Шевырева. Например: в то время когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, – там они венчаются и проч.

Архимандрит Феодор *(Александр Матвеевич Бухарев; 1824–1871), богослов, публицист, критик:*

Я спросил Гоголя, чем именно должны кончиться «Мертвые души». Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. – «А прочие спутники Чичикова в „Мертвых душах“? – спросил я Гоголя. – И они тоже воскреснут?» – «Если захотят», – ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми, и проч., и проч.

В Оптиной пустыни

Михаил Александрович Максимович:

По дороге Гоголь любил заезжать в монастыри и молиться в них Богу. Особенно понравилась ему Оптина пустынь, на реке Жиздре, за Калугою. Гоголь, приближаясь к ней, прошел с своим спутником до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что «как можно брать с странних людей деньги?» «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – заметил Гоголь, умиленный этим, конечно, редким явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. П. Толстому 10 июля 1850 г.:*

Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше.

Павел Александрович Матвеев:

В Оптиной пустыни Гоголь усердно читал книгу Исаака Сирина, – не знаю, с рукописи или в печатном издании, – и она произвела на него большое впечатление. Я видел у о. Климента первый том «Мертвых душ» (первого издания), – экземпляр этот принадлежал гр. А. П. Толстому, – с заметками Гоголя карандашом на полях XI главы первой части. В этой главе Гоголь, говоря о прирожденных человеку страстях, придавал им высокое значение. В сделанной Гоголем карандашом на полях заметке было написано: «Это я писал в „прелести“, это вздор; прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне

мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о „гнилых словах“, здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь; вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение „Мертвых душ“. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимание природы души».

Д. П. Богданов, *журналист, сотрудник журнала «Исторический вестник»:*

По словам современников, Гоголь в Оптиной пустыни был два раза, хотя весьма вероятно, что он был в ней гораздо больше <…>. Особенно сильно приковывали к себе внимание Гоголя старцы Моисей, Антоний и Макарий. По монастырским воспоминаниям, эти личности были таковы. Старец Моисей был игуменом монастыря. Проводя время в постоянных трудах по управлению обителью, он неукоснительно исполнял все правила и обязанности монастырской жизни. Главной и отличительной чертой его было изумительное нищелюбие. Всем, кто нуждался в его помощи, никогда не было с его стороны отказа <…>. За пренебрежение его к деньгам монастырская братия прозвала его «гонителем денег». Начальник скита, старец Антоний, был родной брат игумена Моисея. Необыкновенно трудолюбивый, смиренный, он служил для всей братии примером по исполнению церковных служб и монастырских работ, несмотря на тяжелую болезнь ног, которой он страдал более тридцати лет. Третий старец, поразивший душу Гоголя, Макарий, был иноком высокой духовной жизни. Его советами и указаниями пользовалась вся монастырская братия, для которой он был неустанным наставником на пути к христианскому совершенствованию. Высокий подвижнический ум старца Макария более всего привлекал к себе душу Гоголя <…>. По воспоминаниям современников, отношения между Гоголем и старцем Макарием были самые искренние. Все запросы и сомнения своей души Гоголь нес на разрешение инока, который с дружеской готовностью выслушивал их и давал советы и указания.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь заговорил о монастырях, о их общественном значении

в прошедшем и настоящем. Он говорил прекрасно о монастырской жизни, о той простоте, в какой живут истинные монахи, о том счастьи, какое находят они в молитве, среди прекрасной природы, в глуши, в дремучих лесах! «Вот, например, – сказал он, – вы были в Калуге, а ездили ли вы в Оптину пустынь, что подле Козельска?» – «Как же, – отвечал я, – был». – «Ну, неправда ли, что за прелесть! Какая тишина, какая простота!» – «Я знаю, что вы бывали там часто, Николай Васильевич, и в последний раз, когда хотели ехать в Малороссию, не доехали и остановились в Оптиной пустыни, кажется, на несколько дней». – «Да, я на перепутьи всегда заезжаю в эту пустынь и отдыхаю душой. Там у меня в монастыре есть человек, которого я очень люблю… Я хорошо знаю и настоятеля отца Моисея». – «Кто же этот друг ваш?» – «Некто Григорьев, дворянин, который был прежде артиллерийским офицером, а теперь сделался усердным и благочестивым монахом и говорит, что никогда в свете не был так счастлив, как в монастыре. Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин. Покуда человек еще не выработался, не совершенно воспитал себя, хотя он и стремится к совершенству, в нем все еще слишком много строгости, слишком много угловатого и много отталкивающего. Если же раз он успеет, с Божьею помощью, уничтожить в себе все сомнения, примирится с жизнью и дойдет до настоящей любви, то сделается тогда совершенно спокоен, весел, ко всем добр, со всеми ласков. Таковы все эти монахи в пустыне: отец Моисей, отец Антоний, отец Макарий; таков и мой друг Григорьев».

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма иеромонаху Оптиной пустыни Филарету, 1850 г.:*

Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом неложно. Покажите эту записку мою отцу игумену и умолите его вознести свою мольбу обо мне, грешном, чтобы удостоил Бог меня, недостойного, поведать славу имени Его. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского

дрязгу и на всяком месте своего странствования быть в Оптиной пустыни.

1850–1851. В Одессе

Александр Павлович Толченов:

В 1851 году я состоял в числе актеров русской одесской труппы. В начале января мне встретилась надобность повидаться с членом дирекции театра А. И. Соколовым. Дома я его не застал. Дай, думаю, побываю у Оттона (известный в то время ресторатор в Одессе), не найду ли его там?.. Действительно, Соколов оказался у Оттона. Кончив немногосложное дело, по которому мне надо было видеться с Александром Ивановичем, я полюбопытствовал узнать, по какой это причине он так поздно обедает (был час восьмой вечера). «Вы, сколько мне известно, Александр Иванович, враг поздних обедов… Неужели вы заседаете здесь с двух часов?» – «Именно так – заседаю с двух часов!.. Что вы смеетесь? Здесь, батюшка, Гоголь!! Вот что!» – «Я знаю, что Гоголь в Одессе еще с конца прошлого года, но…» – «Да не в том дело, что он в Одессе, а в том, что он здесь, в ресторане… По некоторым дням он здесь обедает и, по своей привычке, приходит поздно – часу в пятом, шестом… Ну, а у меня своя привычка, я так долго ждать не могу обеда, как вам известно, – вот я пообедаю в свое время и сижу, жду; начнут „наши“ подходить понемногу, а там и Николай Васильич приходит, садится обедать – а мы составляем ему компанию… Вот почему я здесь и заседаю с двух часов… Хотите, пойдемте, я представлю вас ему… Он хотя терпеть не может новых лиц, но вы человек „маленький“, авось при вас он не будет ежиться… Пойдем!»

Мы вошли в другую комнату, которая из общей ради Гоголя превратилась в отдельную и отворялась только для его знакомых. Робко, с бьющимся сердцем, переступал я порог заветной комнаты… Все собеседники Гоголя были более или менее хорошо мне знакомы, но при мысли видеть Гоголя, говорить с ним нервная дрожь пробирала меня и голова кружилась. При входе в заветную комнату я увидел сидящего за столом, прямо против дверей, худощавого человека… Острый нос, небольшие пронзительные глаза, длинные, прямые темно-каштановые, причесанные a la мужик, волосы, небольшие усы… Вот что я успел заметить в наружности этого человека, когда при скрипе затворяемой двери он вопросительно взглянул на нас… Человек этот был – Гоголь.

Соколов представил меня. «А! добро пожаловать, – сказал Гоголь, вставая и с радушной улыбкой протягивая мне руку. – Милости просим в нашу беседу… Садитесь здесь, возле меня», –

добавил он, отодвигая свой стул и давая мне место. Я сел, робость моя пропала. Гоголь, с которого я глаз не спускал, занялся исключительно мной. Расспрашивая меня о том, давно ли я на сцене, сколько мне лет, когда я из Петербурга, он, между прочим, задал мне также вопрос: «А любите ли вы искусство?» – «Если б я не любил искусства, то пошел бы по другой дороге. Да во всяком случае, Николай Васильич, если б я даже и не любил искусства, то наверно вам-то в этом не признался бы». – «Чистосердечно сказано! – сказал, смеясь, Гоголь. – Но хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер – должны вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь… Поверьте, гораздо благороднее быть дельным ремесленником, чем лезть в артисты, не любя искусства». Слова эти, несмотря на то, что в них не было ничего нового, произвели на меня сильное впечатление: так просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было в тоне Гоголя ни докторальности, ни напускной важности, с которыми иные почитают делом совести изрекать юношам самые истертые аксиомы поношенной морали. Чувствовалось, что слова эти говорятся не из желания дать молодому человеку приличное наставление в поучение ему, а высказываются как горячее убеждение, благо случай представился высказать это убеждение. Видя в руках моих бумагу, Гоголь спросил: «Что это? Не роль ли какая?» – «Нет, это афиша моего бенефиса, которую я принес для подписи Александру Ивановичу». – «Покажите, пожалуйста». Я подал ему афишу, которая, по примеру всех бенефисных афиш, как провинциальных, так и столичных, была довольно великонька. «Гм! а не долго ли продолжится спектакль? Афиша-то что-то велика», – заметил Гоголь, прочитав внимательно афишу. «Нет, пьесы небольшие; только ради обычая и вкуса большинства публики афиша, как говорится, расписана». – «Однако все, что в ней обозначено, действительно будет?» – «Само собою разумеется». – «То-то! Вообще никогда не прибегайте ни к каким пуфам, чтоб обратить на себя внимание. Оно дурно и вообще в каждом человеке, а в артисте шарлатанство просто неприлично… Давно я не бывал в театре, а на ваш праздник приду!» Разговор сделался общим. Гоголь был, как говорится, в ударе. Два или три анекдота, рассказанные им, заставили всю компанию хохотать чуть не до слез. Каждое слово, вставляемое им в рассказы других, было метко и веско… Между прочим, услыхав сказанную кем-то французскую фразу, он заметил: «Вот я никак не мог насобачиться по-французски!» – «Как это

насобачиться?» – спросили, смеясь, собеседники. «Да так, насобачиться… другим языком можно учиться, изучать их… и познакомишься с ними… а чтоб говорить по-французски, непременно надо насобачиться этому языку». Разошлись по домам часов в девять. Такова была моя первая встреча с Гоголем. <…>

Вообще к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией, которая сказалась мне и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях и в тех советах, которыми он меня подарил. На вечере у Орловой Гоголь оставался довольно поздно и все время был в отличном расположении духа. Кроме этих исключительных случаев, я бывал не менее двух раз в неделю в обществе Гоголя на сходках у Оттона, в той же маленькой комнате, в которой я увидал его впервые и куда Гоголь являлся обедать в известные, свободные от приглашений, дни, раза два-три в неделю. Гоголь приходил часов в пять, иногда позднее, приходил серьезным, рассеянным, особенно в дни относительно холодные, но встречали его обыкновенно так радушно, задушевно, что минут через пять хандра Гоголя пропадала и он делался сообщителен и разговорчив. Постоянными собеседниками Гоголя у Оттона были: профессор Н. Н. Мурзакевич, М. А. Маршанский, А. Ф. Богданов, А. И. Соколов и Н. П. Ильин; иногда бывал еще кто-нибудь из общих знакомых, но редко. Я присутствовал в этом кружке в качестве юноши, подающего надежды <…>.

С приходом Гоголя являлся самолично Оттон, массивный мужчина, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом. Появление его производило общий восторг, так как он являлся только в торжественных случаях. С подобающей важностью, с примесью добродушного юмора Оттон вступал с Гоголем в переговоры касательно меню его обеда. Такое-то блюдо рекомендовал, такое-то подвергал сомнению, на том-то настаивал. Но, увы!.. все его усилия склонить Гоголя к вкушению тончайших совершенств кулинарного искусства пропадали даром, и Гоголь составлял свой обед из простых, преимущественно мясных блюд. Оттон, тяжело вздохнув и пожимая плечами, удалялся для нужных распоряжений. <…> По окончании Гоголем обеда вся компания группировалась около него, и Николай Васильевич принимался варить жженку, которую варил каким-то особенным манером – на тарелках, и надо сознаться, жженка выходила превкусная, хотя сам Гоголь и мало ее пил, часто просиживая целый вечер с одной рюмкой. <…> Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива. Все собеседники, как будто сговорясь,

старались избегать всякого намека на предметы, разговор о которых мог бы смутить веселость Гоголя. Два раза было нарушено это правило: однажды я рискнул спросить его мнение о современных русских литераторах, на что Гоголь отказался отвечать, ссылаясь на малое знакомство с современной литературой, отозвавшись, впрочем, с большой симпатией о Тургеневе. В другой раз кто-то из присутствующих прямо и просто предложил ему вопрос: «Чему должно приписать появление в печати „Переписки с друзьями“?» – «Так было нужно, господа», – отвечал Гоголь, вдруг задумавшись и таким тоном, который делал неуместными дальнейшие вопросы.

Иногда находили на него минуты задумчивости, рассеянности, но весьма редко; вообще же мне не привелось подметить в Гоголе, несмотря на частые встречи с ним во время его пребывания в Одессе, ни одной эксцентрической выходки, ничего такого, что подавляло бы, стесняло собеседника, в чем проглядывало бы сознание превосходства над окружающими; не замечалось в нем также ни малейшей тени самообожания, авторитетности. Постоянно он был прост, весел, общителен и совершенно одинаков со всеми в обращении. <…> Говорил охотно Гоголь про Италию, о театре, рассказывал анекдоты, большей частью малороссийские <…>.

Николай Осипович Лернер *(1877–1934), историк литературы, пушкинист. Со слов А. Л. Деменитру:*

В доме Л. С. Пушкина, жившего на углу Греческой и Преображенской ул., зимою 1850–1851 гг. имел случай познакомиться с Гоголем студент ришельевского лицея А. Л. Деменитру. По его рассказу, худой, бледный, с длинным, выдающимся и острым, словно птичьим, носом, Гоголь своею оригинальною наружностью, эксцентрическими манерами произвел на студента весьма странное впечатление какого-то «буки». Все окружающие оказывали Гоголю знаки величайшего внимания, но его это стесняло и коробило, и он относился небрежно к этим проявлениям уважения своих поклонников. Он был вял, угрюм, сосредоточен; говорил очень мало. За обедом его всячески старались растормошить, – что называется, «разговорить», заводя речь о предметах, которые, казалось, могли его заинтересовать, но он был по-прежнему молчалив и угрюм. Одна дама обратилась к нему с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ничего не ответил, как будто и не расслышал вопроса (а может быть, и в самом деле не расслышал). Его оставили в покое и заговорили о местных одесских делах и делишках. Кто-то произнес фамилию

негоцианта-грека Родоканаки. При этом слове Гоголь на мгновение встрепенулся и спросил студента Деменитру, сидевшего рядом с ним: «Это что такое? Фамилия такая?» – «Да, – подтвердил Деменитру, – это фамилия». – «Ну, это бог знает что, а не фамилия, – сказал Гоголь. – Этак только обругать человека можно: ах ты, ррродоканака ты этакая!..» Все рассмеялись, а Гоголь опять погрузился в свои мысли. Обед кончился. Хозяева и гости перешли в гостиную. Зашел разговор о Лермонтове. Лев Сергеевич достал и показал гостям перчатку Лермонтова, снятую с его руки после дуэли с Мартыновым. Все с любопытством поглядели на эту реликвию, но Гоголь не обратил на нее ни малейшего внимания и, казалось, не слушал и рассказа хозяина дома о Лермонтове, которого Лев Сергеевич близко знавал.

Жил Гоголь за Сабанеевым мостом, на Надеждинской улице, в доме А. А. Трощинского, в находившемся во дворе отдельном флигеле, и занимал во втором этаже две небольшие комнатки. Бывая у его соседей, Деменитру иногда слышал несшиеся из комнат Гоголя вздохи и шепот молитвы: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

Зачитывавшиеся произведениями Гоголя студенты ришельевского лицея с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством, оглядывали на улице странно одетого, с сумрачным и скорбным, бледным лицом Гоголя. Те, что были посмелее, даже следовали за ним, – правда, в довольно значительном отдалении. Это раздражало Гоголя, и, завидя студентов, шедших ему навстречу, он иной раз бегством в первые попавшиеся ворота спасался от тяготившего его внимания молодежи.

Из последних дней

Николай Васильевич Берг:

Жил в то время Гоголь крайне тихо и уединенно у графа <А. П.> Толстого (что после был обер-прокурором) в доме Талызина, на Никитском бульваре, занимая переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу; тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему, в его комнатах, собственный его человек, из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно… Когда писание утомляло или надоедало, Гоголь подымался наверх, к хозяину, не то – надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево из ворот.

Владимир Александрович Соллогуб:

Он иногда еще бывал весел, читал по вечерам свои произведения, всегда прежние, и представлял, между прочим, в лицах своих нежинских учителей с такой комической силой, что присутствующие надрывались со смеха. Но жизнь его была суровая и печальная. По утрам он читал Иоанна Златоуста, потом писал и рвал все написанное, ходил очень много, был иногда прост до величия, иногда причудлив до ребячества. <…> Он страдал долго, страдал душевно – от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные; томился тем, что непричастен к радостям, всем доступным, и изнывал между болезненным смирением и болезненной, несвойственной ему по природе гордостью.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Описанный день, в который мы с ним обедали, особенно мне памятен: он был пред его болезнью последний, в который мне пришлось провести довольно долгое время вместе. Я, как бы предчувствуя, что мне не удастся более слышать его, дорожил каждым его словом и наблюдал его внимательно. Выйдя к обеду, он говорил, что зябнет, несмотря на то, что в комнате было +15°Р[22]. Пока не подали кушанье, он скоро ходил по обширной зале, потирая руки, почти не разговаривая; на ходьбе только приостанавливался перед столом, где были разложены книги, чтоб взглянуть на них. Перед обедом он выпил полынной водки, похвалил ее; потом с удовольствием закусывал и после того сделался пободрее, перестал ежиться; за обедом прилежно ел и стал разговорчивее. Не помню почему-то, я употребил в рассказе слово научный; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: «Научный, научный, а мы все говорили „наукообразный“: это неловко, то гораздо лучше». Тогда я изумился, как может так сильно занимать его какое-нибудь слово; но впоследствии услышал, что он любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок и опять пойдет из дома.

После обеда Гоголь сидел в уголку дивана, смотрел на английскую иллюстрацию, все молчал, даже на этот раз не слушал, что говорили кругом него, хотя разговор должен был его занимать: разрешались религиозные вопросы, говорили о церковных писателях, которых он любил; однако ж, по нечаянному случаю, произошел описанный разговор о театре, и он стал оживляться. Зашла речь о «Провинциалке» г. Тургенева, пьесе, которой придавали тогда большое значение. «Что это за характер: просто кокетка – и больше ничего», – сказал он. Обрадовавшись, что Гоголь сделался разговорчивее, я старался, чтоб беседа не отклонилась от предметов литературных, и, между прочим, завел речь о «Записках сумасшедшего». Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать: не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: «Читал, но после». – «Да как же вы так верно приблизились к естественности?» – спросил я его. «Это легко стоит представить себе…» Я жаждал дальнейшего развития мысли, но, к прискорбью

моему, подошел к нему слуга и доложил ему о чем-то тихо. Гоголь вскочил и убежал вниз к себе в комнаты, не окончив разговора. После я узнал, что к нему приезжал Живокини (сын), который в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина. Живокини (вероятно, по совету Гоголя) выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и главное, без кривляний и фарсов, то есть так, как Гоголь желал, чтоб исполнялись и все, даже самые второстепенные роли.

По всему видно было, что Гоголь в это время еще занят был и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более, как за месяц до его смерти. В это время он перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру, заказав единовременное печатание каждой части в особой типографии…

В эту же зиму приведен был к окончанию второй том «Мертвых душ» и еще какие-то статьи, которые должны были войти в состав прежних четырех томов полного собрания.

Напечатав предположенное, он собирался посвятить себя какому-то труду, по части русской истории. Не любя раскрывать своих задушевных мыслей, особенно говорить о себе как о сочинителе, тем более слушать себе похвалы, он в это последнее время, в задушевной беседе, объявил, однако, что довольнее своими последними, приготовленными к печати трудами, в которых «слог трезвый, крупный, яркий, не такой, как был в прежних, уже изданных сочинениях, когда он *вовсе не умел писать*».

Деятельная ли жизнь имела благоприятное влияние на здоровье, или улучшенное здоровье произвело эту деятельность – решить трудно; но замечательно, что знакомые Гоголя почитали его в это время совершенно здоровым; они ожидали от него в скором времени новых сочинений, из которых ясна будет всем и каждому его великая творческая способность, и были уверены, что слово его разрешит многие вопросы, так сильно занимавшие в то время умы всей Европы; особенно на это надеялись те, кто знал, как сильно занимали его эти вопросы. По крайней мере, им было известно, что он своим сочинениям посвящает много труда, забот и времени. В последние месяцы своей жизни Гоголь работал с любовью и рвением, почти каждое утро до обеда (четырех часов) выходя со двора для прогулки только за четверть часа, и вскоре после обеда по большей части уходил опять заниматься в свою комнату.

«Литургия» и «Мертвые души» были переписаны набело его собственною рукою, очень хорошим почерком. <…> Второй том

«Мертвых душ» был прочтен им в Москве по главам в разных домах, но число слушателей было весьма ограничено, да и те обязывались не рассказывать о содержании слышанного до поры до времени. «Литургия» была еще меньшему числу его знакомых известна, а о других своих сочинениях он упоминал только изредка. <…>

От времени до времени в нем обнаруживалась мрачная настроенность духа без всякого явственного повода. По непонятной причине он избегал встречи с известным доктором Ф. П. Гаазом. В ночь на новый 1852 год, входя из своей комнаты наверх, он нечаянно встретил на пороге доктора, выходившего из комнат хозяина дома. Гааз ломаным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим, думая выразить мысль одного писателя, сказал, что желает ему такого *нового года*, который даровал бы ему *вечный год*. Присутствовавшие заметили тут же, что эти слова произвели на Гоголя невыгодное влияние и как бы поселили в нем уныние. Конечно, оно было скоропреходящее, но могло служить зародышем тех мрачных мыслей, которые впоследствии времени при других, более ярких, впечатлениях приняли огромный размер.

Степан Петрович Шевырев. *Из письма М. Н. Синельниковой:*

Из расспросов слуги Гоголя я узнал, что Гоголь лечился в доме и каждое утро обвертывался мокрой простыней. Так было в декабре и генваре месяце. Он никогда не говорил мне о том. Лечение его было прервано.

Потом возобновил его опять, но, обернувшись простынею, не согревался. Такое лечение было совсем не по его слабому сложению. Я думаю, в нем заключалась главная причина его болезни. Когда я его расспрашивал о том, он сказал мне, что лечение освежило его силы и он чувствовал себя бодрее, но, конечно, это была искусственная бодрость.

Алексей Дмитриевич Галахов:

В последний приезд его в Москву он жил в доме графа Толстого, его приятеля и одномысленника, где и заболел. Болезнь сначала казалась неважною; по крайней мере, никто не ожидал, что она окончится смертью. Многие навещались о его положении и узнавали, что он держит строгий пост, кушает только просфоры с красным вином, не принимает никаких лекарств. К этим причинам телесного расстройства присоединились внутренние, моральные влияния: отречение от прежней своей деятельности, дошедшее до намерения сжечь рукопись второго тома «Мертвых душ», пренебрежение жизнию, ничем необъяснимое

самоистязание… Короче, мрак и тайна облекали его судьбу.

Николай Васильевич Берг:

Зимой, в конце 1851 года и в начале 1852 года, здоровье Гоголя расстроилось еще больше. Впрочем, он постоянно выходил из дому и бывал у своих знакомых. Но около половины февраля захирел не на шутку и слег. По крайней мере уже его не видно было пробирающимся по Никитскому и Тверскому бульварам. Само собою разумеется, что все лучшие врачи не отходили от него, в том числе был и сам знаменитый А. И. Овер. Он нашел нужным поставить клистир и предложил сделать это лично. Гоголь согласился, но когда приступили к исполнению, он закричал неистовым голосом и объявил решительно, что мучить себя не позволит, что бы там ни случилось. «Случится то, что вы умрете!» – сказал Овер. «Ну что ж! – отвечал Гоголь. – Я готов… я уже слышал голоса…»

Все это передавали мне окружавшие в то время Гоголя. Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате, совершенно так, как бы здоровый. Посещения друзей, по-видимому, более отягощали его, чем приносили ему какое-либо утешение. Шевырев жаловался мне, что он принимает самых ближайших к нему уж чересчур по-царски; что свидания их стали похожи на аудиенции. Через минуту, после двух-трех слов, уж он дремлет и протягивает руку: «Извини! дремлется что-то!» А когда гость уезжал, Гоголь тут же вскакивал с дивана и начинал ходить по комнате.

Михаил Петрович Погодин:

С которого времени, по крайней мере, оказалась в нем роковая перемена? Кажется, недели за три до кончины.

А за месяц он был, по-видимому, здоров, принимал еще живое участие в издании своих сочинений, которые печатались вдруг в трех типографиях, занимался корректурами, заботился об исправлениях в слоге, просил замечаний.

<…> По соображениям оказывается теперь, что в последнее время он уклонялся под разными предлогами от употребления пищи, в чем, однако ж, уличить было его невозможно…

Степан Петрович Шевырев. *Из письма М. Н. Синельниковой:*

В понедельник на масленице приехал он ко мне в пять часов вечера, чтобы сказать, что некогда ему теперь заниматься корректурами. Я и жена заметили перемену в лице его и спросили, что с ним. Он отвечал, что дурно себя чувствовал

и кстати решился попоститься и поговеть. Я спросил его: «Зачем же на масленой?» – «Так случилось, – говорит он. – Ведь и теперь церковь читает уже „Господи, Владыко живота моего!“ и поклоны творятся».

Алексей Терентьевич Тарасенков:

К этому же времени приехал из Ржева, Тверской губернии, Матвей Александрович, священник, известный образцом строгой христианской православной жизни, которого он уважал и с которым так любил беседовать. С особенною охотою он разговаривал с ним теперь, когда размышления религиозные были ему так по сердцу. М. А. прямо и резко, не взвешивая личности и положения, поучал, с беспощадною строгостью и резкостью проповедывал истины евангельские и суровые наставления церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем все для любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, Сына Божия, умершего за нас. Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных. За всякое слово праздное мы отдадим отчет и проч. Такие и подобные речи, соединенные с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного уже на мысль о смерти, о вечности, о греховности. Притом Гоголь видел, как М. А. на деле исполнял самые строгие пустынно-монашеские установления церкви: например, много и долго молился за обедом, почти не ел, не хотел благословлять стола в среду прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного. Разговоры этого духовного лица так сильно потрясли его, что он, не владея собою, однажды прервав его речь, сказал ему: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!»

Протоиерей Ф. И. Образцов:

О. Матфей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. «Отрекись от Пушкина, – потребовал о. Матфей. – Он был грешник и язычник…» Что заставило о. Матфея потребовать такого отречения? Он говорил, что «считал необходимым это сделать». Такое требование было на одном из последних свиданий между ними. Гоголю представлялось

прошлое и страшило будущее. Только чистое сердце может зреть Бога, потому должно быть устранено все, что заслоняло Бога от неверующего сердца. «Но было и еще…» – прибавил о. Матфей. Но что же еще? Это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном. «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства». Такими словами закончил о. Матфей разговор о Гоголе.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Во вторник на масленице он проводил Матвея Александровича на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там все обращали на него внимание и с ненасытным любопытством его преследовали.

Михаил Петрович Погодин:

Во вторник на масленице Гоголь приезжал к своему духовнику, живущему в отдаленной части города, известить, что говеет, и спросить, когда можно приобщиться. Тот посоветовал было дождаться первой недели поста, а потом согласился и назначил четверг.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде, говоря, что «такие книги нужно часто перечитывать, потому что нужны толчки к жизни». С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия; стал есть весьма мало, хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи, к которой привык и без которой всегда чувствовал себя дурно. Свое пощение он не ограничивал одною пищею, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы он рано вставал, шел к заутрене, тогда как до того времени не выходил со двора, не выспавшись достаточно и не напившись крепкого кофе.

По отъезде Матвея Александровича он стал подробнее изучать церковный устав и еще более говорить о смерти. По учреждениям церковным масленица составляет преддверие поста: уже начинает отчасти совершаться великопостная служба; употребление мясной пищи запрещено с самого ее начала; в продолжение же двух первых дней первой недели поста, по некоторым уставам, не дозволяется вовсе употреблять никакой пищи. Изучив подробнее устав, Гоголь начал его придерживаться и, по-видимому, старался сделать более, нежели предписано уставом. Масленицу он посвятил говению; ходил в церковь, молился весьма много и необыкновенно тепло, от пищи

воздерживался до чрезмерности: за обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отзывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом оттого, что его лечили… Впрочем, в это время болезнь его выражалась только одною слабостью, и в ней не было заметно ничего важного; самая слабость, видимо, происходила от чрезмерного изнурения и мрачного настроения духа. Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал поститься и проводить ночи на молитве; ослабление возрастало со дня на день. Впрочем, он еще мог выезжать и ходить. <…>

Зная по опыту, как причащение раньше успокаивало Гоголя во время его уныния, гр. А. П. Толстой присоветовал ему причаститься скорее, не продолжая приготовительного говения. Поговорив с духовником, по-видимому вовсе не понимавшим его, Гоголь причастился в церкви, находящейся далеко от его дома (на Девичьем Поле). Это было в четверг на масленице (7 февр.). Однако ж и причащение его не успокоило. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Вообще, болезненное изнеможение тела еще более служило к мрачному настроению духа.

Степан Петрович Шевырев. *Из письма М. Н. Синельниковой:*

В тот самый день, как приобщился он Святых Тайн, я был у него и со слезами, на коленях, молил его принять пищу, которая могла бы подкрепить его, но он как будто оскорбился такою просьбою, уверял меня, что ест весьма довольно.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

В один из последующих дней он поехал на извозчике в Преображенскую больницу, подъехал к воротам, слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой. В Преображенской больнице находился один больной, признанный за помешанного; его весьма многие навещали, приносили ему подарки, испрашивали советов в трудных обстоятельствах жизни, берегли его письменные замечания и проч. Некоторые радовались, если он входил с ними в разговор; другие стыдились признаться, что у него были… Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу – Бог весть. Вероятно, были с ним и другие приключения, которые остались неизвестными,

как и вообще многое сокрыто из его жизни.

Такие необыкновенные поступки его хотя и бывали с ним прежде, однако же теперь были так продолжительны, что поразили графа; он уговорил его посоветоваться с врачом, для чего и призван был его давнишний знакомый доктор Иноземцев, который нашел, что у него катар кишок, советовал ему спиртные натирания живота, лавровишневую воду и ревенные пилюли по случаю долго продолжавшегося запора. Не веря вообще медицине и медикам, он не воспользовался и его советами, хотя чувствовал уже себя весьма дурно и перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал.

Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночью с пятницы на субботу (8–9 февраля) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений глубоко его потрясавших. < … >

Духовник навещал Гоголя часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. «Какие молитвы вам читать?» – спрашивал он. «Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием; но не было лица, которое могло бы взять над ним верх; не было лекарства, которое бы перевернуло его понятие; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы; глотать какие-либо лекарства. Так провел он почти всю первую неделю поста.

Михаил Петрович Погодин:

В субботу, на масленице, он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости

не представлялось ничего необыкновенного.

С понедельника только обнаружилось его совершенное изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Никакие убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя. В четверг сказал: «Надо меня оставить, я знаю, что должен умереть».

Алексей Терентьевич Тарасенков:

В понедельник и вторник первой недели поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда, останавливался на ступенях, присаживаясь на стуле, однако стоял всю всенощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил он, стоя перед образами в теплой молитве со слезами. Граф, видя, как изнуряет все это Гоголя, прекратил у себя церковное служение.

Сожжение второго тома «Мертвых душ»

Николай Васильевич Берг:

К сочинению своему он стал относиться в это время еще более подозрительно, только с другой, религиозной стороны. Ему воображалось, что, может быть, там заключается что-нибудь опасное для нравственности читателей, способное их раздражить, расстроить. В этих мыслях, приблизительно за неделю до кончины, он сказал своему хозяину, Толстому: «Я скоро умру; свези, пожалуйста, эту тетрадь к митрополиту Филарету и попроси его прочитать, а потом, согласно его замечаниям, напечатай».

Тут он передал графу довольно большую пачку бумаг, в виде нескольких тетрадей, сложенных вместе и перевязанных шнурком. Это было одиннадцать глав второго тома «Мертвых душ». Толстой, желая откинуть от приятеля всякую мысль о смерти, не принял рукописи и сказал: «Помилуй! ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично».

Гоголь как будто успокоился, но в ту же ночь, часу в третьем, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Семен отвечал, что надо прежде открыть трубу наверху, во втором этаже, где все спят: перебудишь! «Поди туда босиком и открой так, чтобы никого не будить!» – сказал Гоголь. Семен отправился и действительно открыл трубу так осторожно, что никто не слыхал, и, воротясь, затопил печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь ту связку бумаг; которую утром отдавал Толстому. Семен говорил нам после, будто бы он умолял барина на коленях не делать этого, но ничто не помогло: связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросал одну за другой в печь. Так рукопись, плод стольких тягостных усилий и трудов, где, несомненно, были многие прекрасные страницы, сгорела.

Михаил Петрович Погодин:

Из расспросов об участи его сочинений оказалось.

В воскресенье, перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его

упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти.

Ночью, на вторник, он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел, с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» – «Не твое дело», – отвечал он молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. «Иное надо было сжечь, – сказал он, подумав, – а за другое помолились бы за меня Богу; но, Бог даст, выздоровею и все поправлю».

Поутру он сказал гр. Т<олстому>: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти».

Алексей Терентьевич Тарасенков:

На этой же неделе (с понедельника на вторник ночью) Николай Васильевич велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул из шкапа большую кипу писанных тетрадей, положил в печь и зажег их. Мальчик заметил ему: «Зачем вы это делаете? может, они и пригодятся еще». Гоголь его не слушал; и когда почти все сгорело, он долго еще сидел, задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен – вот он к чему меня подвигнул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях!»

Прежде этого Гоголь делал завещание графу взять все его сочинения и после смерти передать митрополиту Филарету. «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно». Теперь, в эту

ужасную минуту сожжения, Гоголь выразил другую мысль: «А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак – и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу: у меня все это в голове». После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать.

Агония

Алексей Терентьевич Тарасенков:

За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи (после сожжения рукописи второго тома «Мертвых душ». – Сост.) он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого, сидел в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, чем было только возможно, чтоб вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: надобно же умирать, а я уже готов, и умру… Когда гр. А. П. Толстой, для рассеяния, начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме Муханова, общего, близкого знакомого, об образе матери, который затерялся было, да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!» Потом он молчал, погружался в размышления и тем заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч., и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 р. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 р., розданные втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде.)

…Давно мне не случалось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слыхал ничего о его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною и объяснили, что происходит с Гоголем. Иноземцев отзывался о болезни Гоголя неопределенно и один день предполагал переход ее в тиф, на другой сказал, что Гоголю лучше, однако же запретил ему выезжать. Озабоченный положением больного, хозяин дома желал, чтоб я видел и сказал свое мнение о его болезни. По его рассказам мне пришло на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить больного употреблять пищу каким бы то ни было способом? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных

и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу.

Однако ж Гоголь на этот раз не изъявил желания меня видеть. Наконец посещавший его врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «Напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста.

Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита.

Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтоб он употреблял питательную пищу и имел свободное отправление кишек. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенна, что она теперь господствует между многими и проходит скоро *при пособиях*. Я настаивал, чтоб он, если не *может* принимать плотной пищи, то по крайней мере непременно употреблял бы поболее питья, и притом питательного – молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил как последнее средство; она осталась без действия: разве надобно пить, чтоб прогнать ее», – сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье

нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх. <…>

Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Через служителя я выпросил у него позволение войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление пред самим собою. Говоря это, я обратил все внимание на лицо страдальца, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я знаю, врачи добры: они всегда *желают* добра»; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли, или в знак прощания – не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним, вбежал к графу, чтоб сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится. <…>

…Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения.

Спешить с медицинскою помощью теперь, казалось, еще нужнее. Приезжали врачи; каждый высказывал свое мнение. Думали, судили, толковали; никто не присоветовал ничего решительного, да и не видно еще было близкой опасности. Между

тем трудно было предпринять что-нибудь с человеком, который в полном сознании отвергает всякое лечение. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий; он приписывал это *чуду*. И в настоящее время сказал он одному из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно Богу, чтобы я жил еще, – буду жив…» Один близкий ему земляк (И. В. Капнист) хотел также подействовать на Гоголя своим дружеским влиянием, но Гоголь ничего не отвечал на его слова, так что можно было подумать, что больной уже потерял память. Посетитель сказал: «Верно, ты, Николаша, меня не узнаешь?» – «Как не знать? – отвечал Гоголь и, назвав его по имени, прибавил: – Прошу не оставить вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии», – и опять замолк. Между тем все соединилось не к добру. Ф. И. Иноземцев захворал и последние дни у него не был. А. И. Овер приглашен был графом войти к Гоголю в первый раз в этот же понедельник. Вероятно из медицинской деликатности, он не посоветовал ничего другого, как не давать ему вина, которого больной спрашивал часто.

Петр Александрович Плетнев. *Из письма В. А. Жуковскому 24 февраля 1852 г., со слов А. О. Смирновой:*

Как Толстой ни увещевал Гоголя подкрепиться, ничто не действовало. Граф поехал к митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Филарет приказал сказать, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Но и это не произвело перемены в мыслях больного. Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и коротко: «Оставьте меня; мне хорошо». Он забыл обо всем: не умывался, не чесался, не одевался.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

В воскресенье приходский священник убедил больного принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уже в последнее время никакой пищи. В этот же день духовник его убедил было употребить промывательное; хотя он согласился, но это было только на словах. Когда к нему стали прикасаться, он решительно отказался.

Михаил Петрович Погодин:

В понедельник на второй неделе духовник предложил ему

приобщиться и пособороваться маслом, на что он согласился с радостию и выслушал все Евангелия в полной памяти, держа в руках свечу, проливая слезы.

Вечером уступил было настояниям духовника принять медицинское пособие, но лишь только прикоснулись к нему, как закричал самым жалобным, раздирающим голосом: «Оставьте меня, не мучьте меня!» Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, приказывал только по временам переворачивать себя или подавать себе пить. Иногда показывал нетерпение.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Во вторник являюсь я и встречаю гр. Толстого, чрезвычайно встревоженного сверх ожидания. «Что Гоголь?» – «Плохо: лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить».

В Москве уже прослышали о болезни Гоголя. Передняя комната была наполнена толпою почитателей таланта и знакомых его; молча стояли все со скорбными лицами, поглядывая на него издали, и не показывались ему, боясь нарушить покой страждущего. Казалось, каждый готов был поплатиться своим здоровьем, чтобы восстановить здоровье Гоголя, возвратить отечеству его художника.

Меня впустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица – образ Богоматери; в руках четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не отвечал ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтобы пощупать пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание как теперь, так и во все эти дни, не обнаруживалось. Единственным важным припадком, продолжавшимся несколько дней, была констипация. Через несколько времени больной погрузился в дремоту, и я успел испытать, что пульс его слабый, скорый, мягкий, удобосжимаемый; руки холодноваты, голова также прохладна, дыхание ровное, правильное.

Приехал Погодин с Альфонским. Этот предложил магнетизирование, чтобы покорить его волю и заставить употреблять пищу. Явился и Овер, который согласился на то же в ожидании следующего дня, в который он предполагал приступить к мерам энергическим; но для этого он велел созвать консилиум и известить о нем Иноземцева.

Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая,

не обращая внимания на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто просил пить красного вина, и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. По-видимому, он уже не ясно различал качество питья, потому что сказал только: «Зачем подаешь мне мутное?» – однако ж выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: «Подай, подай!» Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано.

Вечером этого же дня пришел врач Сокологорский для магнетизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать магнетизирование было нельзя.

Поздно вечером призван был д-р Клименков и поразил меня дерзостью своего обращения. Он стал кричать с ним, как с глухим и беспамятным, начал насильно держать его руку, добиваться, что болит. «Не болит ли голова?» – «Нет». – «Под ложкой?» – «Нет» и т. д. Видно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он опять умоляющим голосом сказал: «Оставьте меня!» – завернулся и спрятал руку. Клименков советовал кровопускание, лед, завертывание в мокрые холодные простыни; я предложил отсрочить эти действия до завтрашнего консилиума. Одно только пособие сделано было в эту же ночь: когда больной перевертывался, вложили ему suppositorium из мыла, и это не обошлось без крика и стона.

На следующий день, в среду утром, собрались для консилиума Овер, Евениус, Клименков, Сокологорский и я. Судьбе угодно было, чтобы Варвинский был задержан и приехал позднее, после того, как участь больного уже решена была неумолимым советом трех. Состояние больного было почти такое же, но слабость пульса так усилилась, что мы с Сокологорским уже утром рано думали попробовать moschus.

В присутствии графа А. П. Толстого, И. В. Капниста, Хомякова и довольно многочисленного собрания Овер рассказал Евениусу историю болезни. Тут передано было все, что случилось с больным в последнее время и в каком положении он находится теперь. Тут взято в расчет: его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу; религиозное убеждение морить себя голодом, носовое кровотечение, ускоренный пульс, неприветливость приема, по мнению Овера, обозначали

meningitis, которая и была причиною его упорства не лечиться и не есть. Поэтому предложен был вопрос: оставить ли теперь больного без пособий, которые он отвергал сам, или поступать с ним как с человеком, не владеющим собою? Решили: лечить больного, несмотря на его нежелание лечиться.

Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон или крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради Бога!»

Овер препоручил Клименкову поставить две пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Тогда прибыл Варвинский, коротко передал ему Овер тот же французский рассказ по-русски. По осмотре больного Варвинский сказал: «gastroenterilis ex inantione; пиявок, не знаю, как он вынесет по слабости, а ванну разве бульонную; впрочем, навряд ли что успеете сделать при таком положении больного». Но его суждения никто не хотел и слушать. Все разъехались. Клименков взялся сам устроить все назначенное Овером. Я отправился, чтобы не быть свидетелем мучений страдальца. Когда я возвратился через три часа после ухода (в шесть ч. веч.), уже ванна была сделана, у ноздрей висели восемь крупных пиявок, к голове приложена примочка. Рассказывают, что, когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того как его положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину», а когда ставили пиявки, он повторил: «Не надо»; когда они уже были поставлены, твердил: «Снимите пиявки», «Поднимите ото рта» (пиявки); при мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели подолее поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову, а внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались как с сумасшедшим, кричали перед ним как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: «Что болит, Н. В.? А? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал.

Они уехали, я остался во весь вечер до двенадцати часов

и внимательно наблюдал за происходящим. Пульс вскоре явственно упал, делался все чаще и слабее; дыхание, затрудненное уже утром, становилось еще тяжелее. Вскоре больной перестал сам поворачиваться и продолжал лежать смирно на одном боку. Когда с ним ничего не делали, он был покоен; но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон или вскрикивал; по временам он явственно произносил: «Давай пить!» уже не разбирая, что ему подают.

Позже вечером он, по-видимому, стал забываться и терять память. «Давай бочонок!» – произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное.

Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: «Давай, давай! ну что ж?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку на шею и надели рубашку (он лежал после ванны голый). Во все это время он не глядел и беспрерывно стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным.

После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова.

В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло. Тут я мог ощупать его живот, который был как доска, вовсе без содержимого, мягкий, вялый, позвоночник через него ощущался легко. Дыхание, однако ж, вскоре сделалось постоянно хриплое и тяжкое. Лицо осунулось, как у мертвеца, под глазами посинело, кожа сделалась прохладною и покрылась испариною. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека.

Лев Иванович Арнольди:

Я поехал в присутствие и, окончив свои дела, отправился к Гоголю. У подъезда стояло несколько экипажей. Человек сказал мне, что доктора все здесь, что консультация кончилась и что все присутствовавшие на ней отправились наверх в кабинет графа. «А что Николай Васильевич?» – «Все в одном положении». – «Можно его видеть?» – «Войдите», – отвечал он мне, отворяя дверь. Гоголь видно переменил комнаты в последнее время или был перенесен туда уже больной, потому что прежде я бывал у него от входной двери направо, а теперь меня ввели налево, в том же первом этаже. В первой комнате никого не было; во второй, на постели, с закрытыми глазами, худой, бледный, лежал Гоголь; длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза; он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоявшую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, малороссиянин. Долго стоял я перед Гоголем, вглядывался в лицо его и, не знаю отчего, почувствовал в эту минуту, что для него все кончено, что он более не встанет. Раза два Гоголь вскинул глазами вверх, взглянул на меня, но, не узнав, закрыл их опять. «Пить… дайте пить», – проговорил он наконец хриплым, невнятным голосом. Человек, вошедший вслед за мною в комнату, подал ему в рюмке воду с красным вином. Гоголь немного приподнял голову, обмочил губы и опять, с закрытыми глазами, упал на подушку. Человек графа разбудил мальчика, который, увидев меня, оробел и подошел к постели больного. Тут я был свидетелем страшного разговора между двумя служителями и не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы меня тут не было.

– Если его так оставить, то он не выздоровеет, – говорил один из них, – поверь, что не встанет, умрет, беспременно умрет.

– Так что ж, по-твоему… – отвечал другой.

– Да вот возьмем его насильно, стащим с постели да и поводим по комнате, поверь, что разойдется, и жив будет.

– Да как же это можно? он не захочет… кричать станет.

– Пусть его кричит… после сам благодарить будет, ведь для его же пользы!

– Оно так, да я боюсь… как же это без его воли-то?

– Экой ты неразумный; что нужды, что без его воли, когда оно полезно. Ведь ты рассуди сам, какая у него болезнь-то?.. никакой нет, просто так… не ест, не пьет, не спит и все лежит, ну как тут не умереть? У него все чувства замерли, а вот как мы размотаем его – он очнется, поверь, что очнется… на свет божий взглянет и сам жить захочет. Да что долго толковать, бери его с одной

стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет!

Мальчик, кажется, начинал колебаться… Я наконец не вытерпел и вмешался в их разговор.

– Что вы хотите это делать, как же можно умирающего человека тревожить? Оставьте его в покое, – сказал я строго.

– Да право лучше будет, сударь! Ведь у него вся болезнь от этого, что как пласт лежит который уж день без всякого движения. Позвольте… Вы увидите, как мы его раскачаем, и жив будет.

Я насилу уговорил их не делать этого опыта с умирающим Гоголем, но, прекратив их разговор, кажется, нисколько не убедил того, который первый предложил этот новый способ лечения, потому что, выходя, он все еще говорил про себя: «Ну, умрет, беспременно умрет… вот увидите, что умрет». И действительно, на другой день, когда я ехал по железной дороге в Петербург, Гоголь умирал в Москве…

Алексей Дмитриевич Галахов:

Ходил слух, что незадолго до смерти Гоголя Шевырев на коленях умолял его принять лекарство. Гоголь, не отвечая, повернулся к нему спиной, а к стенке лицом. Тогда Шевырев не выдержал и громко сказал ему: «Упрямым хохлом ты жил, упрямым хохлом и умрешь».

Михаил Петрович Погодин:

Во вторник он выпил без прекословия чашку бульону, поднесенную ему служителем, через несколько времени другую, и подал тем надежду к перемене в своем положении, но эта надежда продолжалась недолго.

В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, коих он, кажется, уже не чувствовал, изредка бредил, восклицая: «Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!» Ночью дышал тяжело, но к утру затих, – и скончался.

Вера Александровна Нащокина:

Гоголь занимал несколько комнат в нижнем этаже дома графини Толстой. Когда я вошла в комнату, в которой находился больной (помню, комната эта была с камином), он лежал в постели, одетый в синий шелковый ватный халат, на боку, обернувшись лицом к стене. Умирающий был уже без сознания, тяжело дышал, лицо казалось страшно черным. Около него никого не было, кроме человека, который за ним ходил. Через несколько часов Гоголя не стало.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом по предложению Назимова; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик (все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть), и около восьми часов утра дыхание совершенно прекратилось.

Елизавета Фоминична Вагнер, *теща М. П. Погодина. Из письма М. П. Погодину 21 февраля 1852 г.:*

Сего утра в восемь часов наш добрый Николай Васильевич скончался, был все без памяти, немного бредил, по-видимому он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул, болезнь его обратилась в тифус; я у него провела две ночи, и при мне он скончался.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые; лицо умершего выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную с собою за гроб.

Степан Петрович Шевырев. *Из письма М. Н. Синельниковой:*

В последние дни имел он еще силы писать хотя дрожащей рукою… На длинных бумажках писал он большими буквами: «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное». Потом молитву Иисусу Христу против сатаны, чтобы Иисус Христос связал его неисповедимою силою креста своего. Последние слова, написанные им, были: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце полученный урок?» К чему относились эти слова, – это осталось тайной. Одними из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: «Как сладко умирать!»

Похороны

Алексей Терентьевич Тарасенков:

В десятом часу утра в четверг 21 февраля 1852 года я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер в 1 час), но уже нашел не Гоголя, а труп его. <…>

Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег; уже его одели в сюртук, в котором он ходил, уже положили на стол по обычному порядку и приготовились к панихиде. Москвичи еще раз собрались навестить своего любимого поэта, но увидели его уже мертвым. Тут же все узнали о сожжении его сочинений; я выслушал всю службу, поклонился, поцеловал лоб и руку и с сокрушенным сердцем отправился на службу, вздыхая и стараясь разуверить себя, что не наяву видел я невозвратную погибель великого художника вместе с его творениями!

Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу; кто горевал о потере Гоголя, кто о потере его умственного наследия…

Николай Александрович Рамазанов *(1815–1867), скульптор и публицист:*

21-го февраля, после обеда, раздался звонок в моей квартире и явился сильно встревоженный г. А., который объявил о смерти Гоголя. Правда, до того уже были точные слухи о тяжкой болезни последнего; но едва ли кто равнодушно мог вынести весть о смерти этого человека. А. предложил мне поторопиться снять гипсовую маску с покойного. Нельзя было медлить, я позвал старика-формовщика, и через четверть часа мы были уже на Никитском бульваре, в доме гр. Т<олстого>. Гробовая крышка, встреченная нами у входа, подтвердила внезапную горестную весть. Я взошел по парадной лестнице в верхние покои, где в совершенной темноте ходил по комнатам хозяин дома и на вопрос: «Где Н. В. Гоголь?», – ответил, указывая обратно на лестницу: «Там, внизу». Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить [со] снятием маски, после чего со слугой-мальчиком Гоголя мы очистили лицо и волосы от алебастра и закрыли правый глаз, который при всех

наших усилиях, казалось, хотел еще глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли.

Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, *графиня (1815–1892), писательница. Из письма М. А. Максимовичу:*

Тело Гоголя было поставлено в приемной его комнате, в доме графа Толстого, где он жил, и комната не вмещала числа посетителей, приходивших поклониться покойнику.

Николай Васильевич Берг:

Кто-то положил лавровый венок. Двое неизвестных мне художников сделали очерк лица покойного, в гробу, с лавровым венком на голове. Эти листки ходили по Москве. Но грубая спекуляция, а может и просто глупость, выпустила тогда же в свет нелепую литографию, изображавшую сожжение рукописи: Гоголь сидит, в халате, перед пылающим камином, мрачный, со впалыми щеками и глазами. Подле стоит на коленях Семен. Сзади подбирается смерть, с изогнутыми атрибутами. Рукопись пожирается пламенем…

Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир. *Из письма М. А. Максимовичу:*

В четверг вечером попечитель университета упросил графа Толстого позволить ему перенести тело в университетскую церковь, чтобы почтить память покойного, тем более что он был почетным членом университета. Сперва эта просьба, сделанная из глубокого уважения к покойному, встретила несколько возражений, но, однако, все было устроено.

В пятницу вечером попечитель, профессора, студенты и множество лиц из всех кругов пришли в комнаты покойного и вынесли тело его в университетскую церковь. Тело было вынесено Островским, Бергом, Феоктистовым, студ. Сатиным, Филипповым, Рудневым и несено до самой церкви, при просьбах других лиц, добивавшихся чести нести его хотя несколько шагов. Оно было поставлено на катафалк в университете, с почетным караулом шести студентов, день и ночь не отходивших от гроба и сменявшихся через два часа. В субботу, на утренней и вечерней панихиде, был весь город и все сословия.

Николай Васильевич Берг:

Похороны были торжественные. Некоторые из знакомых Гоголя вынесли гроб на плечах. В том числе находился и я. Снег был чрезвычайно глубок, при легком морозе. У Никитских ворот мы передали гроб студентам, которые шли кругом кучами

и постоянно просились нас заменить. Студенты донесли гроб до своей церкви, считавшейся в то время самой аристократической и модной.

Федор Иванович Иордан. *Из письма А. А. Иванову:*

Стечение народа в продолжение двух дней было невероятное. Рихтер (художник. – Сост.), который живет возле университета, писал мне, что два дня не было проезду по Никитской улице. Он лежал в сюртуке – верно, по собственной воле, – с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят и принес весьма много денег от продажи листьев сего венка. Каждый желал обогатить себя сим памятником.

Арсений Андреевич Закревский, *граф (1783–1865), московский генерал-губернатор. Из донесения шефу жандармов графу А. Ф. Орлову 29 февраля 1852 г.:*

Приказано было от меня находиться полиции и некоторым моим чиновниками как при переносе тела Гоголя в церковь, так равно и до самого погребения. А чтобы не было никакого ропота, то я велел пускать всех без исключения в университетскую церковь. В день погребения народу было всех сословий и обоего пола очень много, а чтобы в это время было все тихо, я приехал сам в церковь.

Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир. *Из письма М. А. Максимовичу:*

В воскресенье было отпевание тела. Стечение народа было так велико, что сгущенные массы стояли до самых почти местных образов. Граф Закревский в полном мундире, попечитель Назимов присутствовали при отпевании, так же как и все известные лица города. Гроб был усыпан камелиями, которые принесены были частными лицами. На голове его лежал лавровый венок, в руке огромный букет из иммортелей. Когда надо было проститься с ним, то напор всех был так велик, что крышу накрыли силой. Всякий хотел поклониться покойнику, поцеловать руку его, взять хотя стебель цветов, покрывавших его изголовье. Из церкви профессора Анке, Морошкин, Соловьев, Грановский, Кудрявцев вынесли его на руках до улицы, на улице толпа студентов и частных лиц взяла гроб из рук профессоров и понесла его по улице. За гробом пешком шло несметное число лиц всех сословий; прямо за гробом попечитель и все университетские чины и знаменитости; дамы ехали сзади в экипажах. Нить погребения была так велика, что нельзя было видеть конца поезда. До самого монастыря Данилова несли его на руках.

Иван Сергеевич Тургенев:

ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА
[«Московские ведомости»,
1852 года, марта 13-го, № 32]

Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла эта роковая весть! – Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! – Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников… Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах – это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе… самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами… В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку – соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет – и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! – Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас

невозвратно – и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении…

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными… Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения – все смолкает перед самою обыкновенною могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами:

Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

Дмитрий Александрович Оболенский:

Смерть Гоголя как громовой удар поразила нашу литературу. Все газеты и журналы наполнены были статьями о Гоголе. Это окончательно возмутило цензурное управление, уже прежде подозрительно относившееся к Гоголю, считая его знаменем или главою либеральной партии. Особенно злобно относился к Гоголю бывший в то время попечителем С.-Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин, председательствовавший в главном управлении цензуры.

Цензорам объявлено было приказание – строго цензуровать все, что пишется о Гоголе, и, наконец, объявлено было совершенное запрещение говорить о Гоголе. И. С. Тургенев за коротенькую статью, напечатанную в «Московских ведомостях» 13-го марта 1852 года, где он назвал Гоголя *великим* писателем, по особому распоряжению посажен был в Петербурге на съезжую, во вторую часть, и просидел там две недели. Наконец, даже имя Гоголя опасались употреблять в печати и взамен его употребляли выражение «*известный писатель*».

Николай Васильевич Берг:

Гоголь положен неподалеку от Языкова. На гробнице написано изречение Ефрема Сирина: «Горьким словом моим посмеюся…»

Краткая летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя

1809, 20 марта (1 апреля по новому стилю). Родился Н. В. Гоголь в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Отец – Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, мать – Мария Ивановна (урожденная Косяровская).

1818–1819. Обучался в Полтавском уездном училище.

1820–1821. Брал уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире.

1821, 1 мая. Поступил в гимназию высших наук в Нежине.

1824, январь. Принимает деятельное участие в школьных спектаклях. С большим успехом играет роль Простаковой. Вместе со школьными товарищами К. М. Базили и В. И. Любичем-Романовичем изготовляет декорации для «театральных представлений».

1825, март (вторая половина). Умер Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский.

1827. Пишет идиллию «Ганц Кюхельгартен».

1828, 27 июля. Признан окончившим гимназию (с правом на чин 14-го класса).

1828, 13 декабря. Вместе с А. С. Данилевским через Кибинцы выехал в Петербург.

1829, между 18 января и 9 марта. Гоголь делает попытку увидеть Пушкина, познакомиться с ним, но неудачно.

1829, март. В журнале «Сын Отечества» появляется стихотворение «Италия».

1829, май. Под псевдонимом В. Алов печатает «идиллию в картинах» «Ганц Кюхельгартен». Поэма вызвала резкие и насмешливые отзывы, в июле Гоголь сжигает нераспроданные экземпляры.

1829, 1 (13) августа – 22 сентября. Первая поездка за границу (Любек, Гамбург).

1829, осень. Неудачная попытка Гоголя поступить на сцену.

1829, 15 ноября. Резолюция министра внутренних дел А. А. Закревского о зачислении Гоголя на испытание в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий.

1830, 25 февраля. Прошение Гоголя об увольнении его из Департамента государственного хозяйства и публичных зданий.

1830, февраль – март. Публикация в «Отечественных записках» повести «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала».

1830, май – июнь. Занимается живописью в Академии художеств.

1830, конец года. Знакомство с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым и, по-видимому, с А. А. Дельвигом.

1831, январь – февраль. Гоголь получает (при помощи Плетнева) вакансию давать частные уроки в домах П. И. Балабина, Н. М. Лонгинова и А. В. Васильчикова.

1831, 10 марта. Гоголь вступил в должность младшего учителя истории Патриотического института.

1831, 20 мая. Знакомится с А. С. Пушкиным.

1831, сентябрь. Выход в свет первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832, начало марта. Выход в свет второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832, июнь – июль. Поездка в Москву, знакомство с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым, И. И. Дмитриевым, М. Н. Загоскиным, С. М. Щепкиным.

1833, 2 декабря. Читает Пушкину «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

1834, февраль. В книжке «Журнала Министерства народного просвещения» напечатана статья Гоголя «План преподавания всеобщей истории»; начало работы над повестью «Тарас Бульба».

1834, 24 июля. Определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете.

1834–1835. Читает курс лекций по истории Средних веков в Санкт-Петербургском университете. Среди слушателей И. С. Тургенев.

1835, январь. Выходит в свет сборник «Арабески».

1835, март. Выходит в свет сборник «Миргород».

1835, осень. Начало работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором». Оба сюжета подсказаны А. С. Пушкиным.

1836, 18 января. Читает «Ревизора» у Жуковского.

1836, апрель. Напечатана повесть «Нос».

1836, 19 апреля. Премьера комедии «Ревизор» в Александринском театре в Петербурге.

1836, 25 мая. Премьера комедии «Ревизор» в Малом театре в Москве.

1836, 6 июня. Сопровождаемый А. С. Данилевским, уезжает из Петербурга за границу. Маршрут пролегает через Гамбург, Бремен, Ахен, Майнц, Франкфурт-на-Майне, Баден-Баден, Базель, Берн, Лозанну и Женеву.

1836, август – октябрь. Живет в Швейцарии: в Женеве и Веве с наездами в Лозанну. В Веве возобновляет работу над «Мертвыми душами».

1836, ноябрь – 1837, февраль. Переезжает на зиму в Париж.

1837, 29 января (10 февраля по новому стилю), 2 часа 45 минут дня. Умер Пушкин.

1837, 26 марта. Приезжает в Рим с И. Ф. Золотаревым и поселяется вместе с ним на Via di Isidore, 17.

1837, шюль – август. Лечится на водах в Баден-Бадене.

1837, сентябрь – октябрь. Едет во Франкфурт, потом Женеву; через Милан и Флоренцию возвращается в Рим.

1838, январь – шюнь. В Риме работает над «Мертвыми душами».

1838, шюль – август. Живет в Неаполе и Кастелламаре.

1838, август – сентябрь. Совершает поездку в Париж.

1838, сентябрь (конец) – октябрь (первая половина). Через Лион и Марсель возвращается из Парижа в Рим.

1838, 19 декабря. Показывает приехавшему В. А. Жуковскому достопримечательности Рима.

1839, шюнь – сентябрь. Путешествует по Европе (Ганау, Мариенбад, Вена, Краков, Варшава, Белосток).

1839, 26 сентября. Приезжает в Москву и останавливается у М. П. Погодина.

1839, октябрь – ноябрь. Приезжает в Петербург и останавливается сначала у П. А. Плетнева, потом у В. А. Жуковского.

1839, ноябрь – декабрь. Знакомство и встречи с В. Г. Белинским.

1839, 21 декабря. Приезжает в Москву и останавливается у М. П. Погодина.

1840, 9 мая. Встреча с М. Ю. Лермонтовым на именинном обеде в Москве, в доме М. П. Погодина.

1840, 18 мая. Отъезд в Италию. Во время остановки в Вене приступ тяжелой нервной болезни.

1841, сентябрь–1842, март. Занят окончательной отделкой первого тома «Мертвых душ».

1841, октябрь. Возвращается в Петербург и хлопочет об издании поэмы.

1842, 1–7 января. Посылает рукопись «Мертвых душ» в Петербург с Белинским.

1842, март. Цензура разрешила печатать «Мертвые души», но с изменением названия («Похождения Чичикова, или Мертвые души») и без «Повести о капитане Копейкине».

1842, 5–9 апреля. Началось печатание первого тома «Мертвых душ» (2400 экземпляров). Гоголь работает над переделкой «Повести о капитане Копейкине».

1842, 15–17 мая. Закончилось печатанье «Мертвых душ».

1842, июнь – август. Путешествует по Европе с Н. М. Языковым (Берлин, Гастейн, Венеция).

1842, 9 октября (27 сентября). Вместе с Н. М. Языковым приезжает на зиму в Рим и поселяется на своей старой квартире на Via Felice, № 126.

1842, 9 декабря. Первое представление «Женитьбы» в Петербурге.

1842–1843. Вышли в свет «Сочинения Николая Гоголя» в 4 томах.

1842–1845. Период напряженной работы над вторым томом «Мертвых душ».

1843, 5 февраля. Первая постановка «Женитьбы» и «Игроков» в Москве на сцене Большого театра, в бенефис М. С. Щепкина.

1843, 1 мая (19 апреля)–19 (7) ноября. Покидает Рим и путешествует по Европе. Маршрут проходит через Флоренцию, Болонью, Моден, Мантую, Верону, Трент, Ровердо, Инсбрук, Зальцбург, Гастейн, Франкфурт, Висбаден, Штутгарт, Эмс, Дюссельдорф, Баден-Баден, Карлсруэ, Ниццу. В Гастейне живет у Н. М. Языкова, в Дюссельдорфе – у В. А. Жуковского.

1843, ноябрь–1844, март. Проводит в Ницце в обществе А. О. Смирновой, М. М., Л. К. и А. М. Вьельгорских (Виельгорских), В. А. и С. М. Соллогуб. Живет у Виельгорских. Работает над вторым томом «Мертвых душ».

1844, 19 (7) марта. Гоголь выехал из Ниццы через Страсбург в Дармштадт.

1844, апрель – июль. Во Франкфурте на Майне; живет в «загородном домике» Жуковского.

1844, конец июля–15 сентября. В Остенде на морских купаньях.

1844, 21 (9) сентября – конец года. Через Брюссель возвращается во Франкфурт, где живет у В. А. Жуковского, работает над вторым томом «Мертвых душ».

1845, январь – февраль. В Париже.

1845, январь. Избран в почетные члены Московского университета.

1845, март – начало мая. Во Франкфурте у Жуковского. Тяжелая болезнь, заставившая одно время бояться смертельного исхода. Замысел книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

1845, 27 марта. По ходатайству А. О. Смирновой перед Николаем I Гоголю назначен пенсион из сумм Государственного казначейства на три года, по тысяче рублей серебром в год.

1845, май – июнь. Лечится на водах в Гомбурге, близ Франкфурта, неоднократно посещает Жуковского.

1845, конец июня – начало июля. В состоянии резкого обострения болезни Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ».

1845, июль – октябрь. Ездит на консультации к врачам и лечится на курортах, в это время посещает Берлин, Галле, Дрезден, Карлсбад, Грефенберг, Прагу.

1845, октябрь. Из Берлина едет в Рим через Гастейн, Прагу, Зальцбург, Венецию, Болонью, Флоренцию.

1845, конец года. Переведены на французский язык Луи Виардо с помощью И. С. Тургенева и изданы в Париже повести Гоголя: «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики» и «Вий».

1845, ноябрь–1846, май. Живет в Риме. С января возобновляет работу над вторым томом «Мертвых душ».

1846, начало января. Вышли в свет переведенные на немецкий язык Ф. Лебенштейном и изданные в Лейпциге «Мертвые души» с предисловием переводчика.

1846, май – июнь. Покидает Рим и путешествует по Европе (Флоренция, Генуя, Ницца, Париж, Франкфурт, Прага, Грефенберг, Карлсбад, Швальбах, Эмс).

1846, август – сентябрь. Лечится в Остенде.

1846, 3–22 октября. Живет во Франкфурте, у В. А. Жуковского. Заканчивает работу над «Перепиской с друзьями», пишет «Развязку Ревизора» и «Предуведомление» к нему.

1846, октябрь – ноябрь. Едет через Страсбург, Ниццу, Геную, Флоренцию в Рим.

1847, 12 января. В Петербурге вышла в свет книга «Выбранные места из переписки с друзьями».

1847, июнь – июль. Написана «Авторская исповедь» (напечатана в 1855).

1847, 15 июля. В. Г. Белинский в Зальцбрунне пишет Гоголю письмо, решительно не соглашаясь с идеями его «Выбранных мест из переписки с друзьями».

1848, январь – апрель. Из Неаполя (по Средиземному морю) через Мальту, Сидон и Тир едет в Иерусалим и совершает паломничество по Святой земле.

1848, 6 апреля–1 мая. Из Бейрута через Смирну, Константинополь и Одессу возвращается в Россию.

1848, 9 мая–24 августа. Поселяется в родовом имении Васильевка на Украине. Продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ». В конце мая гостит в Киеве у А. М. Максимовича.

1848, август – сентябрь. Через Глухов, Орел и Москву едет в Петербург.

1848, вторая половина сентября – начало октября. В Петербурге. Видится с П. А. Плетневым, А. О. Смирновой, П. В. Анненковым. На вечере у А. А. Комарова знакомится с Н. А. Некрасовым, И. И. Панаевым, А. В. Дружининым, И. А. Гончаровым и В. Д. Григоровичем.

1848, 14 октября. Приезжает в Москву и останавливается у М. П. Погодина.

1848, конец декабря. Переезжает от Погодина к А. П. Толстому (на Никитский бульвар, в дом Талызина).

1849, август. Читает С. П. Шевыреву, С. Т. Аксакову, А. О. Смирновой первые главы второго тома «Мертвых душ».

1850, весна. Делает предложение А. М. Виельгорской о вступлении в брак, но получает отказ.

1850, 19 июня. Вместе с Максимовичем гостит в имении И. В. Киреевского Долбино и посещает Оптину пустынь.

1850, лето. Проводит в родовом имении Васильевка, где занимается благоустройством дома.

1850, 24 октября–1851, 27 марта. В Одессе.

1851, 27 марта – 5 июня. Через Васильевку и Полтаву едет в Москву.

1851, 22–25 сентября. Едет из Москвы навестить больную мать и на свадьбу сестры, с намерением из Васильевки проехать в Крым и там зимовать. Доехав до Калуги и посетив Оптину пустынь, Гоголь почувствовал себя больным и, опасаясь расхвораться в дороге, решил возвратиться в Москву.

1851, 20 октября. М. С. Щепкин знакомит с Гоголем И. С. Тургенева.

1851, 5 ноября. В квартире А. П. Толстого читает артистам Малого театра комедию «Ревизор». Среди слушателей – М. С. Щепкин, П. М. Садовский, С. В. Шумский, И. С. Тургенев, С. Т. и И. С. Аксаковы, Н. В. Берг, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Г. П. Данилевский.

1851. В Лейпциге изданы на немецком языке повести «Шинель», «Старосветские помещики», «Страшная месть» и «Майская ночь».

1852, январь – февраль. Появляются признаки нового обострения болезни.

1852, 7 февраля. Исповедуется и причащается.

1852, в ночь на 12 февраля. Сжигает беловую рукопись второго тома «Мертвых душ». (Сохранилось в неполном виде лишь 5 глав.)

1852, 21 февраля (4 марта по новому стилю), 7 часов 45 минут. Гоголь умер. Похоронен в Даниловом монастыре; в 1831 г. останки Гоголя были перенесены на Новодевичье

кладбище.

Библиографическая справка

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Переписка Н. В. Гоголя. В 2 т. / Сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. – М.: Худож. лит., 1988.

Гоголь в воспоминаниях современников / Ред. текста, предисл. и коммент. С. Машинского. – М.: ГИХЛ, 1952.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников / Вступ. статья И. П. Золотусского; подгот. текста и примеч. Э. Л. Безносова. – М.: Моск. рабочий, 1990.

notes

Сноски

1

На небеса *(нем)*.

2

Бог из машины *(лат.)*, т. е. универсальное средство решения проблем.

3

Парикмахеров *(фр.)*.

4

Все мое всегда при мне *(лат.)*.

5

Мой дорогой… познакомься со знаменитым писателем Гоголем *(фр.)*.

6

Бесцеремонный *(фр.)*.

Дрофа.

8

Великолепно изданная книга *(англ.)*.

9

Короткая куртка с длинными рукавами.

10

Из плотной ткани.

11

Достойные виселицы, сорванцы *(укр.)*.

12

Нашивки на платье как знаки траура.

13

Представители властей.

14

По очереди *(фр.)*.

15

Иностранца.

16

Стражу *(ит.)*.

17

В общем *(фр.)*.

18

Просторечие.

19

Маленький водопад *(итал.)*.

20

Первого любовника *(фр.)*.

21

Гоголь шутливо называл Анненкова Жюлем.

По Реомюру.